

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

1

ПАРИЖ

1978

Журнал редактируют :

М. РОЗАНОВА

А. СИНЯВСКИЙ

Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции

© SINTAXIS 1978

Адрес редакции :

8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE

КОГДА ТРУБА ТРУБИЛА О ПОХОДЕ...

На середине нынешнего 1978 года странно держать в руках старый, тринадцатилетней давности, журнал «Грани» с его литературными новостями, так похожими на сегодняшние: сто страниц — переписка Бориса Пастернака с Ренатой Швейцер, сто страниц — «Синтаксис» №№ 1-3, подпольный литературный журнал московской и ленинградской молодежи. Вот и вся литературная часть.

Для писем Пастернака «не вовремя» не существует. Но для «Синтаксиса» уже и в шестьдесят пятом году было поздно. В России его прочли в пятьдесят девятом - шестидесятом. Читать его сегодня в Париже — точно вернуться в родной дом или вспомнить о первой любви.

А дело было, по-моему, на третьем курсе. И куда ни глянь — все вокруг писали стихи и все стихи читали. Производство гениев шло поточным методом. Никакие старики Державины для этого не требовались, а так:

— Тут из Москвы Стасика Красовицкого стихи привезли. Гениальный мужик!..

Но и старики находились. Асеев приветил Соснору. Анна Андреевна — Бродского. От стихов в

воздухе стоял даже некий чад. Все как бы немного угорели. На пари уславливались весь вечер говорить пятистопным ямбом или устраивали соревнование, кто больше прочтет наизусть. Читали старое, открываемое и переживаемое как новость — Мандельштама, Цветаеву. Но любили и тоненькие, только вышедшие книжечки Мартынова, Заболоцкого. Еще и сегодня невозможно отнести к строкам, которые пришли тогда, с изменившимися нынешними мерками — так плотно спаяна с ними прежняя благодарность.

...Когда петля переплеталась с плетью,
Когда труба трубила о походе,
А лира о пощаде умоляла...

(Л. Мартынов)

Труба уже вовсю трубила о походе, и назначены и определены были многие маршруты, по которым предстояло в близком будущем пройти участникам поэтических вечеров, поэтам и слушателям; петля и плеть висели совсем невдалеке; и умолять о пощаде было самое время — литературные забавы вот-вот должны были обернуться политическими страстями, и на выходе из юности подстерегало отчаяние. Вот тогда и появился «Синтаксис».

Три тонких сборничка, в размер полулиста, по десять поэтов в каждом. Две книжки московские, одна — ленинградская. Составитель — Александр Гинзбург. Только неправильно написано в «Гранях» — «подпольный литературный журнал»... Он и тогда так не воспринимался. Не журнал, а сборник стихов, поэтический альманах. В нем,

конечно, был легкий привкус недозволенности, но невозможно назвать его антисоветским или подпольным. Просто — рукописный сборник, свободная печать, вольное слово. «Синтаксис» не боролся с советской властью, но советская власть немедленно стала бороться с «Синтаксисом», бросив против трехсот его экземпляров миллионные тиражи «Комсомольской правды».

Из трех десятков авторов «Синтаксиса» около половины стали очень скоро печататься в открытой советской прессе, и многие стихи, отданные ими в «Синтаксис», вошли в их печатные сборники. Теперь, восемнадцать лет спустя, даже трудно поверить, что и в них можно было усмотреть политическую крамолу. По сравнению с официальной поэзией лишь два качества отрицались начисто: высокое парение и ханжеское целомудрие. Жизнь в этих стихах рисовалась так:

Приходят разные повестки.
Велят начать и прекратить.
Зовут на бал. Хотят повесить.
И просят деньги получить.

(Сергей Чудаков)

А любовь так:

Кричат над городом сирены,
И чайки крыльями шуршат,
И припортовые царевны
К ребятам временным спешат.

(Булат Окуджава)

Легко и просто разменивались эти стихи на

цитаты. Здороваясь, хорошо было перекинуться как бы масонским приветствием :

— Хэлло, вы не Пижон ?

— Пижон.

— Мы земляки ! Я поражен !

(Александр Аронов)

Вместо отзыва о знакомом годилось :

Он говорил ей пошлости

Вроде : не судите по внешности...

(Игорь Холин)

Испытанная шутка :

— Я хочу иметь детей —

От коробки скоростей !

(Генрих Сапгир)

Нечего и говорить, что очень скоро стали распевать не только стихи Окуджавы, предназначенные для этого самим автором, но и « Пилигримов » Иосифа Бродского.

Я и сегодня люблю своею прежней молодой любовью строчки Дмитрия Бобьшева :

Где ты бываешь ?

Где ты забываешь

Мои уходы, шорохи, касанья ?

Кому надменно головой киваешь,

Надломленную веточку кусая ?

Нет никакого смысла говорить теперь о скром-

ных поэтических качествах большинства стихотворений в сборниках. Да и тогда не было.

Здесь всего важнее, всего дороже был жест освобождения, неожиданное открытие того простого факта, что поэзия, существующая без разрешения, может быть без разрешения напечатана. Так начинался Самиздат, хотя еще и не было в ходу это слово. Книжки стихов, собранные Александром Гинзбургом, остались памятником поэтическому опьянению конца пятидесятых годов. Очень скоро увлечение поэзией было потеснено политическими дискуссиями, в которых зародилось то, что потом называли демократическим движением. Александр Гинзбург — судьба его известна — от поэтических сборников «Синтаксис» перешел к составлению и изданию «Белой книги». Самиздат пророс «Хроникой». Но начинался он со стихов.

Я скажу вам :

уют нависает углом

над дорогой, ломающей свод.

Я скажу вам, что кто-то опять сплет
свою песню.

Из страсти прочитанной

пусть останется белая гавань.

И строка не умрет несосчитанными
и упавшими в ритме словами.

(Владимир Уфлянд)

Н. Рубинштейн

В защиту

Александра Гинзбурга

3-го февраля 1977 года в Москве был арестован Александр Гинзбург, известный советский диссидент.

Впервые Гинзбурга арестовали в 60-ом году за издание рукописного поэтического журнала «Синтаксис». Тогда он получил два года. Второй раз он был приговорен в 67-ом к пяти годам лагерей строгого режима — за «Белую книгу», документальный отчет о судебном процессе А. Синявского и Ю. Даниэля. Выйдя из тюрьмы, Гинзбург занялся организацией помощи семьям политзаключенных. Тогда его арестовали в третий раз.

За день до ареста Гинзбурга, 2-го февраля, в «Литературной газете» появилась пространная статья-письмо А. Петрова-Агатова «Лжецы и фарисеи». Петров-Агатов, сам бывший лагерник, выступил с «разоблачениями» своих товарищей по заключению, А. Гинзбурга и других диссидентов, обвиняя их в безнравственности, в политических и уголовных преступлениях.

Здесь, в нашем журнале, свидетельские показания дают: Ю. Даниэль — об Александре Гинзбурге, А. Синявский — об Александре Петрове-Агатове.

Юлий Даниэль

ВЫШЕ ДРУГИХ...

Я не хочу и не могу оценивать все происходящее с Александром Гинзбургом с точки зрения политической или юридической. Я не считаю себя

компетентным в этих вопросах и к тому же недостаточно информирован.

Но я хочу сказать о другом. В последнее время в печати появились статьи, в которых Александра Гинзбурга обвиняют в своекорыстии, лицемерии, озлоблении. Я не знаю, какими мотивами руководствуются авторы этих инсинуаций. Может быть, это ненависть посредственности к таланту? Может быть, зависть трусости к мужеству? Так или иначе, здесь я вправе произнести свое суждение о Гинзбурге и о цене этих обвинений.

Мне выпала на долю горькая радость познакомиться и быть с Гинзбургом в лагере, в заключении. Я встретил там много хороших, интересных и значительных людей; но даже на этом ярком фоне Александр Гинзбург выделялся своим абсолютным бескорыстием, своей чистотой, своей терпимостью. За всю мою жизнь мне редко встречались люди столь светлой души, люди, чья доброта, чья человечность были не лозунгом, не декларацией, а непрерывным действием, направленным на пользу людям. Как и его покойный друг, светлой памяти Юрий Галансков, Гинзбург делил свой хлеб и свою одежду с ближним буквально, по-евангельски. Но важнее еды, одежды и табака была помощь духовная: доброе слово, умный совет, согретая юмором беседа, готовность по-братски разделить горести и радости товарища. Десятки раз я наблюдал это служение человека человеку и много раз в трудные минуты на себе испытал, что такое со-чувствие, со-переживание Александра Гинзбурга. Не ошибусь, если скажу, что моя позиция терпимости, нелюбовь к макси-

мализму в значительной степени укрепились благодаря дружескому общению с ним.

Я абсолютно, неколебимо убежден, что всё, что делал Гинзбург до, во время и после заключения, он делал лишь во имя одной цели: помочь людям, поддержать их морально и материально.

Я думаю, что помощи заслуживают все (или почти все) попавшие в беду; но когда речь идет о людях, подобных Александру Гинзбургу, долг каждого порядочного человека *поспешить* на помощь, ибо они не умеют «служить добру, не жертвуя собой». И даже среди этих рыцарей и праведников Александр Гинзбург, чуждый политиканству, лишенный честолюбия, до конца открытый своему призванию, стоит особо — выше многих других.

Москва. 3 февраля 78 г.

Андрей Синявский

« ТЕМНАЯ НОЧЬ... »

*« Узникам Владимирской Бастилии!
Узникам Мордовских и Пермских лаге-
рей, греческих и чилийских тюрем!
Вам, узникам всей вселенной, я пере-
даю свой братский привет и поздравляю
Вас с Рождеством Христовым! »*

*Нет, я не забыл о вас, Владимир
Буковский и Кронид Любарский! В
этот день я склоняю голову перед Алек-
сандром Солженицыным и Александром
Гинзбургом, перед Андреем Сахаровым
и Петром Григоренко. Перед их женами,
несущими на алтарь сострадание ко
всем гонимым, униженным и оскорб-
ленным...*

*Я целую землю, по которой вы хо-
дите, Евгения Михайловна и Вячеслав
Васильевич, — мать и отец Огурцовы. Я
кланяюсь вам, Александр Гинзбург. И
я всегда слышу стук вашего сердца... »*

А. Петров-Агатов

*« Темная ночь. Только пули свистят
по степи... »*

В. Агатов

Мы ходим по кругу, по ледяной дорожке вокруг лагерного «стадиона», и он говорит, говорит:

— Нам надо встретиться, перемолвиться... Время не терпит!..

Тогда я работал в ночную смену, Петров-Агатов — в дневную, и мы редко пересекались. Кое-что я уже слышал о нем, о приехавшем в лагерь Петрове-Агатове, всполошившем за несколько дней всю зону. Он прибыл на 11-ый и всех удивил новостями с воли, что Евтушенко уже арестован и сам Твардовский находится под угрозой ареста. Об этом его известил на допросе следователь. Что у него, у Петрова-Агатова, в европейских банках лежит миллион долларов за напечатанный на Западе роман. Что, более того, — наступает конец света и неминуема война, ядерная война, за которой, однако, в России начнется новая эра...

Лагерь зашевелился — растревоженный муравейник: «приехал писатель, Петров-Агатов, слышали о таком? член ССП, а теперь...» Кто он теперь, толком никто не знал. Я тоже раньше не слышал ничего об Агатове-Петрове. Говорили, что это он написал известную военную песню «Темная ночь», о чем и поведал по приезде.

— Какую еще «Темную ночь»?

— Как? Вы не знаете? «Темная ночь, только пули свистят по степи...» Передают по радио. Он, Агатов, — в лагере! А его песню, без объявления имени, играют по радио!..

Еще больше удивлял его образ поведения. Когда он по прибытии держал речи перед зеками, не боясь стукачей, и говорил про свой миллион, и заявил во всеуслышание, еще более дерзновенно: «Война, скоро война!..» А был, между про-

чим, уже пожилым человеком, старым каторжником и, судя по виду и по замашкам, не врал, хотя что-то в нем немного настораживало. Приехал по второму, даже по третьему сроку, а ведет себя, как ребенок, кричит — миллион долларов! Всем без разбора тычет письма, доказывающие, что он, Петров-Агатов, на самом деле писатель, — письма, полученные еще по старому лагерному адресу несколько лет назад, — от Евгения Евтушенко и Николая Грибачева. Как он эти письма сберег и провез сюда после всех шмонов — непостижимо. Правда, Грибачев писал ему прямо и резко, что пускай при Сталине Петрова арестовали неправильно, не надо было ему бежать из лагеря раньше времени, покуда партия не осудила еще «культ личности»... Петров же рассказывал всем, что он шесть раз бежал. В это уж, конечно, никто не верил. Чтобы шесть раз бежать? Из лагеря? Не бывает!

Словом, передо мной был фантастический случай, искавший встречи и жаждущий объяснений.

— Нам надо поговорить. Вы — писатель, и я — писатель. Но я знаю больше, чем вы воображаете, при всем своем, извините, фантастическом реализме ...

Значит, кое-что обо мне уже слышал. Откуда? От кого? Я повторил, что для большого разговора мы можем встретиться недели через две, не раньше, когда рабочие смены, дневные и ночные, поменяются местами. Где-нибудь в конце февраля.

— Февраля? Да знаете ли вы, что в начале марта начнется мировая война? У нас остались считанные дни! Надо решать!

Что решать? Разговор происходил в феврале 69-го года, на 11-ом лагпункте, в Мордовии. Мы ходили вдвоем по дорожке, вокруг «стадиона», чтобы никто не подслушивал, и белое, полное нездоровой полнотой закоренелого сидельца, лицо Петрова-Агатова свешивалось над нами, как лагерная луна. Было заметно, что он часто плачет, что это, в общем, добрый, бескорыстный и уверенный в себе человек. Он прекрасно знал Апокалипсис и, кроме того, имел откровения во сне.

— Посмотрите, — сказал Петров-Агатов, — земля клокочет. Земля превратилась в ядерное море. На триста километров в диаметре вокруг Москвы — огненное море!..

Сумасшедший? — подумал я и тут же опомнился. — Нет, не сумасшедший, для сумасшедшего был слишком разумен, а для провокатора недальновиден. Если через три недели не будет войны, его в лагере засмеют. Надвигающаяся война рисовалась ему вполне реально, в виде живой картины ядерного клокочущего моря, в которое превратится земля вокруг Москвы на 300 километров в диаметре. Охрана разбежится. А за нами, сидящими в Мордовских лесах интеллектуалами, американцы пришлют два вертолета, чтобы вывезти нас отсюда, как последнюю опору России, — с этого острова посреди огненного моря...

Сомнительно. Чтобы американцы тратились на нас вертолетами в подобном гипотетическом кризисе? Да и не такие мы цацы, не тот случай! Но Петров-Агатов, собирая вокруг себя изможденных узников, имел пророческий дар, состояв-

ший в ненавязчивости приснившейся ему панорамы. Он убеждал примерно так, улыбаясь :

— Ну что мне вас уговаривать, господа ! Мне-то зачем ? Не верите — не верьте : ваше право. Но только через две недели (тут он задумывался), ну, максимум через четыре, вы сами увидите... Это более реально, чем то, что я сейчас с вами разговариваю...

Признаться, и у меня холодок пробежал по коже, когда он сказал, что в начале марта — не миновать — война... Мировая война... Любой на его месте самозванец позаботился бы отложить будущее хотя бы на полгода, пока люди забудут, а он тем временем пожнет лавры и освоится в новой зоне. Зачем, спрашивается, было ему пророчествовать наименее выгодным для себя образом ? Будоражить заключенных и навлечь на себя ненависть начальства, которому его речи, конечно, немедленно пересказывались ? Когда я как-то посоветовал Петрову быть осторожнее, а он от публичных речей перешел уже к открытым письмам по зоне, что грозило ему Владимиром, « крыткой », если не новым сроком, он просто развел руками :

— Чего нам с вами бояться, когда через месяц, максимум через полтора, этого ничего не будет ?

И он показал на бараки, на вышки, на « стадион », вокруг которого мы с ним ходили уже по просохшей дороге.

— Этого — не будет ! Неужели вы, — даже вы, — мне не верите ?

Он спросил, о чем я пишу сейчас, поскольку меня нередко видели за этим занятием, и я отве-

тил, что пишу о Пушкине, что было правдой, не вдаваясь в подробности.

— О Пушкине? Теперь? Накануне мировой катастрофы? Когда через месяц, максимум через полтора, ничего этого не будет?.. Да как вы можете, как вы смеете? Что — Пушкин?! когда земля... вся земля...

И он заплакал. И снова нарисовал передо мной огненное море, во что скоро превратится Россия, и два вертолета, приснившиеся ему в виде двух коршунов, спускавшихся над Явасом. По белому его лицу текли слезы, но он смеялся, он светился. От круглой его, лысой головы исходило сияние.

К тому времени я понимал уже, что Петров-Агатов — это самый обыкновенный пророк. Верить ему или не верить было делом совести, которую требовалось, однако, удерживать от экзальтации, чтобы жить в лагере, допуская одновременно, что все это и мираж, и реальность. Разговаривая с ним, я всегда собирал остатки разума и, удивляясь Агатову, старался не поддаваться дьявольской его агитации, изливавшейся словно от солнца, слепого при всем том, куда оно и зачем катится по голубому небосводу. У меня был уже кое-какой опыт столкновения и разговоров с пророками, которым нельзя не верить, но и вверяться нельзя. Мы не вправе заподозрить очередного пророка в обмане, пускай его предсказания с годами не сбываются. Он смотрит на небо, быть может, сквозь толстое голубое стекло, искажающее контуры и дальность или близость события, обозначенного в Писании и не исчезнувшего вследствие человеческой аберрации. Примерно так я и ответил Петрову,

сославшись на историю Средних Веков, несколько раз уже предвещавшую конец света. Он ласково улыбался сквозь слезы, не настаивая на своем, вопреки моему малоумию. Имеющий уши — да слышит. Он только повторял :

— Вы сами убедитесь. То, что я говорю, более реально, чем то, что вот сейчас вы меня видите...

И таял в воздухе...

Его пророческая слава уже страшно колебалась в лагере. Я был из немногих, кто поддерживал с ним ровные, хотя и далекие отношения, невзирая на поступавшие о нем данные, добывавшиеся путем зековских умозаключений. Дескать, что это за « секретный лагерь » под Архангельском, на который он все время ссылался, делая большие глаза ? А не шел ли он тогда просто как уголовник ? И как он мог бежать шесть раз из лагеря ? Да и вправду ли он, Петров-Агатов, написал популярную песню : « Темная ночь, только пули свистят по степи... », передававшуюся по радио ?

Когда меня спрашивали, тоже как писателя, насколько это возможно — « Темная ночь » в устах проходимца и не такого уж большого поэта (Агатов сочинял средней руки стихи), — я, поразмыслив, говорил, что такое случалось в истории литературы, когда небольшой поэт, допустим, вдруг, однажды в жизни, сочинит хорошую песню и потом мы ее поем, бывает, сто лет. Например, « Из-за острова на стрежень ». И уже мне не верили, что подобное возможно. Между тем Петров-Агатов бурно эволюционировал в сторону мистического своего предназначения. Он сподобился крещения « Святым Духом » и пристал к группе

верующих, глубоко и честно исполнявших свой долг перед Богом, под названием « пятидесятники ». Петров-Агатов постился, молился, плакал и вдруг заговорил на « ангельских языках ». « Пятидесятники » такому вторжению в их тесный круг были рады и не рады. Писатель, вырвавшийся в святые, их компрометировал. И они просили меня, по дружбе, как-нибудь его урезонить. Ну придержал бы свои пророчества при себе до поры до времени, потому что здесь, в этом тонком деле, разное бывает. Они опасались, вероятно, не впал ли он в бесовскую прелесть. Но удержать Петрова было уже невозможно.

Мы шли по кругу, в который раз, и он, поговорив о своих миллионах в европейском банке (« Откуда вы знаете ? » — спросил я. « Мне следователь сказал ». — « И вы поверили следователю ? »), вдруг перешел, заплакав, на ангельский язык, на глассолалию. Это было — профанацией. Я видел, как силится он исторгнуть из себя язык, на котором он не умел говорить. Он выдумывал звуки, лившиеся из него, как некое кощунство над тем, к чему он вроде бы уже и пристал, и прилип, сменив свое « православие » на « пятидесятничество ». Я слышал, как молятся на « ангельских языках » другие, настоящие « пятидесятники », и мог сравнивать. Это трудно передать, но у него это выходило искусственно. Петров-Агатов брал на себя заряд, спущенный с неба, и выдавал его в виде заурядной абракадабры, наподобие кликушества.

Но он действовал на многих. Одного американца, сидевшего за наркотики, Петров-Агатов так уговорил на больничке, что тот, вызванный аме-

риканским консулом на свидание в Москву, молил поскорее отправить его обратно в Мордовию, поскольку Мордовия, по пророчеству Петрова-Агатова, рисовалась ему спасительным раем посреди водородного взрыва. Бедный американец с вафельным полотенцем на шее вместо кашне, разговаривая с консулом, ждал, что вот-вот над Москвой разорвется бомба.

За его, Петрова, предсказаниями, как и можно было ожидать, последовал БУР, карцер, а потом — дальше и дальше — Владимирская тюрьма. И все-таки зеки, столпившись в зоне, у репродуктора, который никогда не выключался, слушали самозванную песню словно замороженные :

— Вот он, Петров-Агатов, сейчас сидит в БУР'е, а его песню, на самом деле, передают по радио.

Был даже такой эпизод накануне Дня Победы, 9-го мая. Явился пьяный надзиратель в БУР и спросил :

— А кто тут из вас написал « Темную ночь » ?

— Я ! Я эту песню написал, — вскинулся Агатов.

— Ну так вот — тебе амнистия ко дню Победы. Начальник лагеря приказал. Выходи на сутки раньше — в зону.

И Петров-Агатов вышел из БУР'а за песню « Темная ночь », которая полюбилась начальнику, вышел в общую зону, и об этом рассказывал, смеясь и плача :

— Помилovali !.. За старую мою песню об Отечественной войне...

Темная ночь, только пули свистят по степи,

Только ветер гудит в проводах, тускло звезды
мерцают...

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь...

...И вот пророк сменил пластинку. На старости лет, еще раз, в последний раз, Петров-Агатов прозрел. Он закладывает товарищей, с которыми провел лучшие годы своей жизни. Плача и плача (как сказано в одном японском средневековом романе), он рубит им головы. «Литературная газета», «Неделя» радостно подхватывают его обличительные очерки о советских диссидентах. Еще бы! Бывший зек и сам почти диссидент, верующий человек, христианин, как настойчиво рекомендует себя, заблудшая овца... Что он — испугался? «Осознал ошибки»? После стольких лет лагерей — осознал?! А почему раньше не трусил? Зачем писал «арестантские встречи», «стихи о Колыме»? Рождественские послания...

На эти вопросы не так-то легко ответить. Зная Петрова-Агатова по лагерю, я склоняюсь, что его подвело к предательству, как это ни странно, его же мессианство, приправленное тайным тщеславием. Славы ему не достало, и он вознегодовал, что не пророк он для нас и не светоч, несмотря на контакт с небесами и репутацию старого каторжника, которой любил козырять. А «вера в Бога»? — что ж! «Кто верит, тот в сердце хранит», — сказала мне как-то одна монахиня. Петров же только и делал, что демонстрировал назойливую, экзальтированную религиозность, а мистику подменял отъявленной мистификацией. Притом, не исключено, что сам во все это верил

и верит, каждый раз по-разному, с наигранной искренностью, вчера — в водородную бомбу, сегодня — в КГБ (под крылом у Бога). Неумеренная елейность и преувеличенно-восторженный тон его лагерных посланий и громких молитвословий изобличали ханжескую, предательскую маску потенциального провокатора, очень может быть — уже и сросшуюся с лицом. Даже и теперь, в «Литературной газете», собирая на диссидентов полицейское досье, не постеснялся Петров-Агатов похвастаться своим христианством: как постился в тюрьме по средам и по пятницам, а пайку отдавал голодному сокамернику (его же потом заложил). Какие только соблазны, случается, не вмещает человеческая душа! Я думаю, он горячо молился, перед тем как принести «на алтарь», в жертву, Алика Гинзбурга. И бездна ему открылась: пиши, оплакивай, убивай!..

Только вот о «Темной ночи» почему-то ни полслова... Разве не вы ее сочинили, Александр Александрович? Помните — по радио? «Только пули свистят по степи...» И дальше:

Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались
в степи,
Вот и теперь надо мною она кру-жит-ся...

Но, может быть, спросим себя, Петров-Агатов действительно разочаровался в былых увлечениях, в идеях и людях, которых превозносил? Случается же такое на свете: человек — разочаровался?.. Когда бы так — не лез бы по выходе из-за проволоки в газеты со своими пророчествами, с доносами и клеветой. Да и несет

Петров-Агатов уже не на одних диссидентов или там, подумаешь, на правозащитное движение. Забирает шире. И лагерь, и тюрьма, и братья по вере (« во Христе ! ») — всё под его пером принимает очерк заядлого корреспондента, пущенного по спецзаданию. Уже вкручивает баки доверчивым иностранцам, что, дескать, и в тюрьме у нас хорошо и кормят нормально, что и за веру никого не преследуют. Верь сколько влезет ! И вообще « права человека » в СССР — на высоте. А давно ли витийствовал из лагеря — на Запад ? Цитирую :

« ...Возможно ль допустить, что нормальные люди в XX веке сажают за решетку других людей только потому, что эти последние по-иному мыслят, что они по-другому пишут, что они верят в Бога ? Я уже не говорю об изничтожении инкомыслящих голодом, своеобразной блокадой на истощение... »

...А спросите его — как вы могли ? как вы можете ? — и он скажет, сияя лысиной, вылупив голубые глаза :

— Какая разница ! Неужели вы не видите, что через два месяца, максимум — через три, ничего этого не будет ? Вы мне не верите ? Нет, признайтесь, вы — даже вы — не верите ? !..

И заплачет, улыбаясь. Свидетель обвинения Александр Александрович Петров-Агатов (« бывший член Союза советских писателей » — как он теперь подписывается)...

Современные проблемы

Лев Копелев

О СМЕРТНОЙ КАЗНИ

1

Справедливость и целесообразность смертной казни утверждают сегодня верующие разных исповеданий и атеисты, ретрограды и революционеры, невежды и мудрецы, злые и добрые люди... Но аргументы у них близки, часто даже совпадают.

Обычно доказывают, что смертная казнь необходима **ПОТОМУ, ЧТО** закон и здоровое народное правосознание требуют возмездия за преступления, — убийца должен быть умерщвлен («Око за око, зуб за зуб»); посягнувшего на безопасность нации, государства или армии следует уничтожить («Общее благо превышает личного»). А также **ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ** предотвратить новые преступления, избавляя общество от злодея и устрашая возможных подражателей («Мудрец карает не потому, что зло было совершено, а для того, чтобы оно не свершалось в будущем». Сенека).

Против таких утверждений возражали уже в древности.

Первые христиане верили, что заповедь «не убий» обязательна и для властей. Правда, на протяжении последующих веков христианские государства казнили и пытали едва ли не щедрее, чем языческие. Но всегда находились и ученые богословы, и скромные миряне, которые утверждали, что жизнь каждому человеку дарует Бог, и только он вправе отнять свой чудесный дар; а судьи, палачи и все, кто прямо или косвенно участвует в узаконенном человекоубийстве, присваивая самочинно права божественного произвола, свершают кощунственное злодеяние.

В середине XVIII века Чезаре Беккариа, Монтескье, Вольтер, а позднее многие философы, юристы, общественные деятели, писатели и др., доказывали, что смертная казнь — рудиментарное наследие варварства, которое противоречит естественным законам человечности, мешает здоровому развитию наций и государства.

В XIX веке в европейских государствах сокращали списки преступлений, караемых смертью; в Англии перестали вешать гомосексуалистов, а в США противников рабства; были отменены наиболее мучительные способы умерщвления осужденных (костры, колесования, четвертование), все реже прибегали к публичным казням.

«Прогресс цивилизации» вел от кровавых эшафотов на площадях, запруженных толпами любопытных, к опрятным механизмам гильотины и электрического стула, укрытым в особых потаенных помещениях, куда впускали только немногих избранных участников и наблюдателей бюрократически отработанного церемониала.

В нашем веке массовые расстрелы, виселицы в городах, деревнях, на проезжих дорогах, газовые камеры, чудовищные злодеяния нацистских преступников, Бери и, Абакумова и др. — стали источниками наиболее трудно оспоримых доводов в защиту смертной казни — «Такую нелюдь нельзя оставлять в живых!»

Древний обычай кровавой мести был оправдан верой в то, что души умерших и племенные боги требуют искупительных жертв.

Артур Шопенгауэр, вслед за Платоном, Гоббсом, Пуфендорфом, полагал, что убийцу необходимо казнить, ибо «... его жизнь, его личность должны быть средством исполнения закона и тем самым восстановления общественной безопасности».

Но смерть убийцы не воскресит его жертв, не ослабит горя их близких.

Многовековая история разных стран однозначно свидетельствует, что и самые жестокие кары не «восстанавливают общественной безопасности», не уменьшают числа преступлений. И, напротив, отмена смертной казни не ведет к росту преступности.

В тех штатах США, в которых никого не казнят, свершается отнюдь не больше, а иногда и меньше тяжких преступлений, чем там, где за них грозят петля, электрический стул, пуля или газовая камера. В Норвегии, Швеции, Дании, Нидерландах, ФРГ, Австрии, Швейцарии давно отменена смертная казнь, однако в этих странах

преступность меньше, чем там, где все еще вешают, гильотинируют, расстреливают.

У нас в годы гражданской войны «красные» расстреливали уголовников, спекулянтов и политических противников — заговорщиков, а также и заложников, мстя за террористические акты и массовые репрессии, которые применяли «белые». Но это не предотвращало мятежей, не задерживало наступлений белых армий и не подавило частной торговли, которую пришлось легализовать НЭП'ом. Со своей стороны, «белые» вешали и расстреливали всех, кого принимали за сторонников «красных». Но всё же потерпели сокрушительное поражение.

7 августа 1932 года в Советском Союзе был введен закон, сочиненный лично Сталиным: тот, кто похитил у государства товары или деньги в объеме, который суд сочтет значительным, — подлежал смерти. По этому закону были убиты тысячи людей.

В 1961 году правительство Хрущева ввело закон, предусматривавший смертную казнь за хищение государственной собственности, за взятки, за спекуляцию валютой, золотом и т. п. Были расстреляны несколько сот человек, в том числе и такие, кто был арестован и даже осужден еще до издания нового закона.

Однако все эти годы продолжало расти число воров, спекулянтов и взяточников.

Опыт юристов и криминалистов разных стран свидетельствует, что ни профессиональные уголовники, ни те, кто убивает, насилует, грабит или ворует в силу внезапных, иногда не подвластных

рассудку порывов, не соразмеряют своих действий с кодексами законов.

И всего менее может угроза казни отпугнуть политических террористов. Французский анархист Эмиль Анри, казненный в 1894 году, перед приговором сказал судьям: « Мы несем смерть и принимаем смерть ». То же могут повторить сегодня ирландские, немецкие, палестинские, баскские, японские, итальянские, молуккские и все другие террористы — фанатичные смертники. Напрасно требуют многие добропорядочные граждане ФРГ восстановления смертной казни для последователей Баадера-Майнхоф. Закоснелых преступников не отпугивает возможность жестокой кары; их способно разоружить только сознание неотвратимости ареста, неизбежности изоляции, организационного и морального поражения.

3

Предсмертный страх приговоренного, надежды, сменяемые отчаянием, и мгновения последнего ужаса (если они даже сознаются) не искупают гнусных злодеяний .

Но как бы убедительно ни была обоснована, насколько справедливой ни представлялась бы казнь опасного, неисправимого преступника, это все же человекоубийство. Рассчетливое, преднамеренное убийство, в котором соучаствуют многие — следователи, судьи, тюремщики, конвоиры, исполнители... И они обязаны подавить в себе те простейшие инстинкты отвращения к убийству себе подобных, которые присущи всем живым

тварям, даже голодным хищникам, обязаны отвергнуть само понятие абсолютной ценности человеческой жизни.

Это не относится к солдатам или полицейским, когда они сражаются с вооруженными противниками. Убийство в бою или даже в ослепляющем исступлении мести, драки, тем более в непосредственной обороне себя или близких, еще может быть человечным. Убийство даже злейшего преступника, но беззащитного, обреченного на заклание — всегда бесчеловечно.

Смертная казнь ничего не восстанавливает, никого не исправляет, не возмещает ничьих утрат. Но зато уродует сознание соучастников и очевидцев, миллионов читателей газет, слушателей радиостанций и телезрителей.

Смертная казнь может быть полезна только самому казнимому, мгновенно прекращая его страхи, боль, угрызения совести. Приговоренные к пожизненному заключению часто добиваются смерти и сами убивают себя, как Баадер, Майнхоф и др.

Но смертная казнь вредна всем, и прежде всего тем, кто ее требовал, осуществлял, одобрял или просто был современником.

Лев Толстой в 1908 году писал об этом в статье-воззвании «Не могу молчать»: «Стоит вам опомниться и подумать, чтобы увидеть, что... участвуя в этих ужасных преступлениях, вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете ее, загоняете внутрь». Последнее произведение, которое Толстой написал за неделю до своей кончины, была статья против смертной казни.

После 1953 года в нашей стране были посмертно реабилитированы тысячи невинно казненных. В 1977 году в США реабилитировали Сакко и Ванцетти, — полвека спустя после их казни. В истории каждой страны есть немало примеров судебных ошибок. Русский ученый Дмитрий Аполлинарьевич Рожанский в 1930 году на большом собрании, созванном по поводу очередного процесса «вредителей», единственный голосовал против резолюции, требовавшей смертной казни, и объяснил, что он как физик «против необратимых процессов».

4

Руссо, Оуэн, Сен-Симон, Маркс, Энгельс, Бакунин, Кропоткин, Реклю и др. мечтали о «царстве свободы», в котором исчезнут отчуждение и «расчеловечивание» человека, станет возможным гармоническое единство личности и общества. Их наиболее радикальные последователи верили, что этот земной рай достижим только посредством революционного насилия, ценой кровавых жертв, что путь к грядущему всеобщему счастью ведет по трупам современников...

История первой Французской Республики с ее бесплодным террором 1793-94 гг., новейшая история нашей страны и многих других доказывают: когда средством для достижения даже самых прекрасных целей избирают насилие, оно неизбежно вырождается в уродливую самоцель, в тоталитаризм.

События последних лет и, в частности, те дискуссии о правах человека, которые оживились

по инициативе Джимми Картера, вновь убедительно подтверждают, что на нашей все более тесной планете неделимы ни мир, ни принципы человечности.

Хартии ООН и Соглашение в Хельсинки остаются абстрактными Декларациями, пока некоторые правительства отвергают критические замечания по своему адресу, даже не рассматривая их по существу, а заслоняясь ссылками на суверенитет и «невмешательство во внутренние дела». К таким аргументам в прошлые века прибегали работорговцы и рабовладельцы, в нашем веке — убийцы народов в султанской Турции и «Третьей империи» Гитлера. Сегодня их используют расисты ЮАР, покровители воздушных пиратов-террористов в некоторых странах Африки и Азии, а также государственные деятели и пропагандисты нашей страны и ее союзников.

ООН должна принять международный закон о запрещении смертной казни.

Для начала хотя бы только в политических и в тех уголовных процессах, когда подсудимые не повинны в убийстве *).

Такой закон был бы добрым почином в утверждении неделимой международной действительности прав человека.

Москва. 1978 г.

*) Следующим шагом мог бы стать закон о международной адвокатуре, утверждающей право обвиняемых в политических и гражданских процессах приглашать также и иностранных адвокатов.

Александр Янов

ИДЕАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ГЕННАДИЯ ШИМАНОВА

Судя по скудным сведениям о биографии Геннадия Шиманова, известным нам из его писем, он — один из множества современных русских интеллигентов, оставивших мечту о жизненном успехе и сознательно ушедших на самое «дно» материального существования для того, чтобы обрести на этом «дне» свободу. Свободу думать, писать и проповедовать. Шиманов — лифтер. В этом качестве «в подвале, где сыро и душно, рядом с мусоропроводом» (1) он почти неуязвим для власти. Это дало ему возможность обдумать и написать десятки статей, собранных в две самиздатских книги (2). И статья (в особенности после изгнания Солженицына и ареста Осипова) одним из самых влиятельных идейных лидеров течения, которое я называю диссидентской Правой (3).

Шиманов — энциклопедист. Он пишет об исто-

(1) Г.М. Шиманов. Идеальное государство, стр. 2. Архивы Кестон-колледжа.

(2) «Письма о России» и «Против течения».

(3) Это не мое только мнение. Это мнение Леонида Бородин, одного из лидеров подпольной организации «Все-российский Социально-Христианский Союз Освобождения Народа», а ныне редактора «Московского сборника», сменившего в качестве органа диссидентской Правой журналы «Вече» и «Земля». «Московский сборник», 1974, стр. 68: «Точка зрения Г.М. Шиманова на некоторые вопросы нации и религии сегодня весьма популярна в среде национально настроенной русской интеллигенции».

рии, о церкви, о политике, о праве, о национальном вопросе и о нравственности. Нелегко в коротком обзоре изложить суть его многочисленных доктрин. Но это необходимо, так как, с моей точки зрения, сочинения Шиманова представляют один из самых замечательных и индикативных феноменов идейного процесса, происходящего в сегодняшнем СССР. Процесса, по моему глубокому убеждению, формирующего его завтрашнюю социально-политическую реальность.

1.

ИСТОКИ ГРЯДУЩЕЙ КАТАСТРОФЫ

Само существование Шиманова как политического писателя есть выражение переживаемого сегодня Россией духовного кризиса. Поэтому я начну, пожалуй, с того, как он сам описывает этот кризис.

« И очевидный крах коммунистической утопии, который нельзя бесконечно замалчивать и из которого надо как-то с достоинством выходить; и ничтожество западных путей, неспособных привлечь к себе никаких симпатий; и надвигающийся индустриально-экологический кризис, принуждающий к судорожным поискам дороги к иной цивилизации; и военная опасность со стороны Китая... и внутренние процессы буржуизации и духовно-нравственной деградации, которым надо не на словах, а всерьез противостоять... и вот все это... должно толкать Советскую власть сначала к частичным и половинчатым переменам, а затем

и к решительным — перед лицом государственной катастрофы» (4).

Если попытаться строже сформулировать мотивы этой надвигающейся «катастрофы», получим следующие три ее источника:

1. Мобилизационный по своей природе режим, динамизм которого основывался на движении к ясной и высокой цели, утратил цель и вследствие этого иммобилизовался. Движение превратилось в топтание на месте, а затем в «гниение». Нация дезориентирована и поэтому деградирует, духовно умирает. Общественная и трудовая дисциплина катастрофически падают, подрывая самые основы жизненной силы нации (5).

2. Колоссальные жертвы, принесенные народом на пути к предполагаемой цели, потеряли смысл. Революция, Гражданская война и ГУЛАГ, смерть миллионов, голод и коллективизация, привычка отказывать себе в самом необходимом, все, что могло оправдываться и оправдывалось движением к коммунизму, оказалось бессмыслицей. «Бог умер». Этот страшный вывод, который инстинктивно отбрасывается советскими людьми, о котором они боятся думать, как о собственной смерти, на нем бесстрашно основывает свою доктрину Шиманов.

(4) Г. М. Шиманов. «Как понимать нашу историю», стр. 6. Архивы Кестон-колледжа.

(5) «Русская нация все более исчезает духовно и физически... Вырождается и душа русского человека: в современной духовной и идейной пустоте, как бы лишенная воздуха, она блекнет и увядает. Усыхает и нравственность... Полнейшая дезориентация в жизни... семейный развал, душевная неустроенность, пьянство, разврат, безысходность». (Г. Шиманов. «Против течения», стр. 62).

3. Именно в этой ситуации всеобщей растерянности и «гниения» страна оказывается в самой тяжелой за всю свою историю беде: меж двух огней, Китаем и Европой, равно опасными и беспощадными. В ее сегодняшнем положении нации нечем парировать эту смертельную угрозу.

2.

РУССКИХ ПРЕЗИРАЮТ ВСЕ»

Я сознательно воспроизвожу логику мысли Шиманова и стараюсь рассуждать в его терминах. В его терминах пора «спасать русскую нацию» (6). Пора всем русским, независимо от их положения, объединиться в духовном и интеллектуальном усилии вернуть своему народу его мощь и славу. Шиманов глубоко страдает от того, что, по его словам, «русских презирают все» (7). И страдание его так нестерпимо, что оппоненты с полным правом могли бы назвать это чувство «комплексом национальной неполноценности». Поэтому для Шиманова спасти Россию означает не просто вернуть своей стране величие и процветание, но и превратить ее в центр духовной истории человечества, сделать ее лидером мира. А это значит доказать, что все другие народы — хуже, что ни один из них не достоин первенства. Доказать, что судьба России вовсе не только ее судьба, ибо она несет в себе решение глобального кризиса, переживаемого человечеством, что она имеет значение

(6) Г.М. Шиманов. «Против течения», стр. 62.

(7) Там же, стр. 18.

всеобщее, универсальное. Короче говоря, спасти Россию означает для него сразу, одним ударом, избавиться от всех трех источников надвигающейся катастрофы: и вернуть нации утраченную цель; и вернуть смысл всем принесенным ею жертвам; и сделать ее способной противостоять Китаю и Европе. Но как это сделать? Парадоксальность шимановского ответа на вызов истории — вот что нас на самом деле интересует.

3.

КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ

Историческая доктрина Шиманова исходит из того, что христианство как универсальное орудие спасения мира «не удалось». Что выйдя в мир из катакомб, оно соблазнилось блеском материальной культуры и променяло свою всемирную миссию на чечевичную похлебку мирской власти. Соблазненный католицизм породил «язву протестантства», а она в свою очередь породила «эру буржуазности», захлестнувшую человечество «культом наживы и чистогана», что должно было в конечном счете породить великий и греховный бунт социализма. Итак, «испорченное» (европейское) христианство — теза. Социализм — антитеза. Спасти мир может лишь синтез — бессмертный Гегель в интерпретации популярных учебников диалектического материализма пока что торжествует. Но откуда ждать синтеза? И тут оказывается, что был один народ на земле, который Бог уберег от соблазнов католицизма и язвы буржуазности. Уберег страшным, но в ко-

нечном счете благодатным способом — настав на него татар и тем самым отрезав его от «мощных ренессансных объятий» Европы. Так единственная на свете Россия оказалась не только обладательницей «истинной веры», но и чудом сохранила ее среди всемирного потопа буржуазности.

Мы можем увидеть здесь, кстати, и методологический принцип исторической доктрины Шиманова: когда Бог хочет сохранить свой избранный народ, он насылает на него чуму, национальное несчастье. Так Шиманову посчастливилось открыть универсальный операционалистский метод самого Провидения. И он успешно применяет его дальше. Он признает, что и Петровская реформа, и Октябрьская революция, и ГУЛАГ были великими бедствиями народными. Он лишь призывает увидеть за их кровью и грязью, за их кажущейся бессмыслицей Великую Тайну и Божественный Промысел. Нет, не напрасны неисчислимы жертвы народа русского, они оправданы, они лишь ступени на пути к великой цели и цена за его историческое предназначение. Выше голову, русские! — говорит Шиманов. — Вы на верном пути к истинной цели. Само крушение коммунистической утопии только расчистило перспективу. Коммунизм — лишь русская форма протестантизма. И его крах означает на самом деле зарю обновленного христианства, Православие. Соедините исконную русскую веру с внутренней имманентно-религиозной сущностью коммунизма и вместо фальшивого идола вы увидите перед собой Бога. Он вел вас тернистыми тропами. Но он вас привел. Остался один только шаг. «Я скажу, что

теперь, после опыта тысячи лет, загнавшего человечество в невыносимый тупик, разве не ясно, что только подлинное, возрожденное христианство может быть выходом из тупика? что необходима иная, новая, не язычески-буржуазная, но аскетическая и духовная цивилизация? » (8). Откуда же и ждать этого благовеста, как не из единственного источника истинной веры, который Господь сохранил на земле, хлеща бичами Татарского Ига, Октябрьской революции, ГУЛАГ'а и, наконец, Советской власти?

Опасно, мне кажется, недооценивать актуальные политические потенции предложенного Шимановым истолкования истории, в котором даже ГУЛАГ, как бы кощунственно это ни звучало, получил свое оправдание. Ибо не в том ли одна из причин фатальной изоляции советского диссидентства, беспрерывно и с огромной убедительностью разоблачающего бесплодность и бесцельность принесенных тремя поколениями народа жертв, что народ не хочет слышать этих разоблачений? Случайно ли наталкиваются они на глухую стену социально-психологических стереотипов, быть может, воздвигнутую в глубинах общественного сознания именно в целях национального самосохранения? Это непреодолимое инстинктивное стремление массового сознания обелить черное, вернуть бессмыслице смысл, позор нации обратить в ее оружие, оно-то и становится мощным инструментом Шиманова. Можно сказать, что Шиманов пытается использовать ГУЛАГ, как Гитлер использовал Версаль.

(8) Г. Шиманов. « Как понимать нашу историю », стр. 5.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Здесь мы вторгаемся в самую оригинальную сферу творчества Шиманова, в его интерпретацию Советской власти. Шиманов первым среди «правых» понял, что негативная, обличительная функция диссидентства изжила себя, что работать отныне может только концепция позитивная. Концепция, заключающаяся не столько в обличении режима, сколько в использовании его имманентно-религиозной природы для достижения общенациональных целей. Именно из этого исходит его понимание Советской власти как политической организации, с одной стороны, способной противостоять искушению «гнилой западной демократии», а с другой — мобилизовать народ на новый исторический подвиг. «Ныне Советская власть уже не может всерьез стремиться к призраку коммунизма... но в то же время она не может отказаться от грандиозности своих задач, ибо иначе надо будет держать ответ за напрасные жертвы, которым поистине нет числа. Но в чем тогда Советская власть сможет найти свое оправдание? Только в сознании того, что она была бессознательно в прошлом, а ныне вполне сознательно является инструментом Божиим для построения нового христианского мира. Иного оправдания у нее нет, а это является... подлинным и великим оправданием. Приняв его, наше государство откроет в себе поистине неисчерпаемый источник Правды, духовной энергии и силы, какого не было в истории еще никогда...

Ветхий языческий мир ныне уже окончательно изжил себя... Чтобы вместе с ним не погибнуть, надо построить иную цивилизацию — но разве способно на это разрушенное в своих основах западное общество? — Только Советская власть, приняв Православие... способна начать **ВЕЛИКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ МИРА** » (9).

И не хозяйственные реформы, и не гражданские права для этого нужны. Не Советской власти нужно приспособиться для этого к народу, а народу приспособиться к Советской власти, понять и принять ее в свое сердце как нашу родную власть, « которая от Бога ». Ибо только приняв и растворив ее в себе, может народ сделать ее подлинно народной.

Но кто же мешает этому? Конечно, космополитическое диссидентство, усвоившее от Запада дурную манеру « фрондирования » против своего государства, поднимающее политическую шумиху и пытающееся увести народ от его исторического предназначения. Вот почему ненавистны Шиманову еврейские или еврействующие интеллигенты, которых он называет « цивилизованными дикарями », « питающимися отбросами западной цивилизации ». Вот почему ненавистны ему « жи-до-масонская » программа академика Сахарова и даже непоследовательная, с его точки зрения, позиция самого Солженицына, который для Шиманова по сути лишь заурядный либерал, перерядившийся в патриота и националиста.

« При чтении "Письма вождям" может показаться, что Солженицын уже вырос из демократии,

(9) Г. Шиманов. « Как понимать нашу историю », стр. 6.

переступил от нее к автократии (т. е. к самодержавию, по-русски)». Но, добавляет Шиманов не без иронии, «то лишь при невнимательном чтении. В действительности он сделал шаг всего лишь одной ногой, а другою остался... на старом месте» (10). Очень важна для нас шимановская критика Солженицына «справа», потому что она сразу вводит в центр его политической концепции. Например, Солженицын призывает вождей отказаться от государственной идеологии. Вздор, — считает Шиманов, — ибо «идеократическому государству отказаться от идеологии... значит попросту покончить с собой... Марксистская идеология... является основой нашего Государства... надо заботиться не о том, чтобы марксизм был механически отброшен, а о том, чтобы он был трансформирован самой жизнью и... изжит» (11).

И дело тут не только в том, что Шиманов рассчитывает использовать религиозные элементы марксизма в проектируемой им идеологии будущего государства, в идеологии, которая должна стать органическим «соединением Нила Сорского и Ленина», смесью православия с ленинизмом. Дело еще и в том, что будущее это государство должно остаться *идеократическим*, т. е. иметь одну, монополярную, исключаящую какое-либо инакомыслие идеологию (12). Шиманов, как и его

(10) Там же, стр. 8.

(11) Г. Шиманов. «Как понимать нашу историю», стр. 9.

(12) Если допустить на минуту, что в ситуации серьезного кризиса, вызванного, скажем, борьбой за наследство Брежнева, власть в России возьмут военные, трудно отрицать, что им будет намного легче договориться с Шимановым, чем с Солженицыным.

дореволюционный аналог Константин Леонтьев, хочет быть диссидентом лишь до тех пор, покуда он не у власти. Вот почему так яростно ополчается он на солженицынское предложение о «свободной колосьбе мыслей» в будущей России. Никакой свободы он не потерпит. Да она и не нужна никому в России, кроме кучки еврействующих космополитов. «Пора отказаться от нелепого предрассудка, будто тепличная атмосфера «свободы мнений» и «свободы творчества» является наилучшей для вызревания истины и большого искусства» (13).

Обратите внимание на парадокс шимановской доктрины: перед нами диссидент, инакомыслящий, открыто проповедующий тоталитарное подавление инакомыслия, ненавидящий сам принцип диссидентства. Но попробовав разобраться в основах этого парадокса, мы убедимся, что ничего парадоксального в нем нет, а есть лишь логическое следствие шимановской концепции государства. Вот Шиманов заявляет: «В России было слишком много страданий, и разрешиться им в комическом и жалком демократическом пшике Бог не позволит. Западной демократии у нас не должно быть» (14). Более точно позицию эту выразил когда-то только Леонтьев, заявив, что «Русская нация специально не создана для свободы» (15).

Но почему, спрашивается? Здесь сердце проблемы. Ответив на этот вопрос, мы сможем

(13) Г. Шиманов. «Как понимать нашу историю», стр. 8.

(14) Г. Шиманов. «Против течения», стр. 24.

(15) «Русское обозрение», 1895, № 1, стр. 264.

объяснить в Шиманове все. Даже апологию политического доноса, которую он стыдливо пытается оправдать длинной цитатой из Достоевского (16). Даже призывы, которые кажутся его оппонентам чудовищными (точно так же, как чудовищными казались аналогичные призывы оппонентам Леонтьева), « утвердить верноподданическую атмосферу » по отношению к режиму, « как единственно возможную для православно-русских патриотов » (17).

Шиманов спрашивает : « Разве можно назвать полноценной властью демократические режимы, которые эмансипировались от решения нравственных задач до чисто фискальных и полицейских функций ? » (18). Иначе говоря, « полноценным » для Шиманова является лишь государство — субъект нравственных задач общества, государство, определяющее цели нации и ведущее ее к ним. Почему ? Да потому, что оно должно служить « орудием преобразования мира », т. е. нового крестового похода. Что оно должно поэтому мобилизовать и подчинить себе не только все действия, но и все помыслы, но и самые интимные отправления своих подданных. Что, следовательно, оно должно быть способно к тотальному контролю над ними. Способна ли к нему демократия ? « Как относятся к власти западные демократы ? Да кому не лень приближается к ней... начинает трясти ее за грудки... доказывая свою правду...

(16) Г. Шиманов. « Против течения », стр. 97-98.

(17) Г. Шиманов. Там же, стр. 101.

(18) Г. Шиманов. « Идеальное государство », стр. 6. (Подчеркнуто мною. А.Я.).

так что бедная власть... уже и не знает, кого ей слушать и кому подчиняться... деморализованная... (она) отказывается по существу от власти... вместо того, чтобы с твердостью определять должное и не должное » (19). Иначе говоря, государство, которое « не абсолютно », « не самодержавно », которое не располагает « развитой нервной системой в лице партии, охватывающей весь общественный организм до каждой его чуть ли не мельчайшей клеточки » (20), государство, властвование которого не тотально, для Шиманова — не государство!

Вот и ответ на наш вопрос. Демократия потому зло, что она в принципе не тоталитарна, что она не способна контролировать « весь общественный организм до мельчайшей его клеточки ». Советская власть потому добро, что она содержит в себе потенцию тоталитаризма, что она способна обеспечить такой контроль (21). Такова действительная цена, которую обязан, по Шиманову, заплатить за свою избранность народ русский: он должен осознать, что его судьба, его крест, его тайна — быть рабом тоталитарного государства.

Никогда еще, со времен Леонтьева, не проповедовалось в России рабство с такой страстью и красноречием. Ни один, даже самый яростный зарубежный ненавистник России, не отваживался так грубо произносить ей смертный приговор.

(19) « Московский сборник », стр. 26.

(20) Г. Шиманов. « Идеальное государство », стр. 14.

(21) И здесь снова трудно не заметить необычайное удобство доктрины Шиманова для идейного оправдания регенерации механизма тоталитарного властвования. Иначе говоря, для реставрации сталинизма.

Только человек, клянущийся на всех углах в любви к русскому народу, мог позволить себе столь открыто провозгласить, что народ этот — единственный на земле сосуд « истинной веры », призванный быть нравственным учителем человечества, — на самом деле раб! И что учить человечество может он лишь искусству рабства.

Итак, перед нами тоталитарно-националистическая утопия, основанная на глубочайшем недоверии к человеческой личности, которая хотя и предполагается созданной по образу и подобию Божию, тем не менее лишена элементарного человеческого права выбора, обречена быть лишь орудием в руках всемогущего и всеблагого Государства. Оно-то и занимает место Бога в тоталитарно-националистической утопии. Занимает закономерно, ибо выступает единственным реальным воплощением языческого идола нации, вытеснившего в сознании Шиманова и его единомышленников Бога истинного. Ведь он и сам признается: « Россия есть предмет веры » (22).

5.

РОССИЯ : НАЦИЯ ИЛИ ИМПЕРИЯ ?

Но главный парадокс шимановской утопии еще впереди. С одной стороны, утверждается в ней, что нации не должны « без нужды общаться с инородцами », что « национальные организмы должны быть сомкнутыми и непроницаемыми друг

(22) Г. Шиманов. « Против течения », стр. 20.

для друга » (23). С другой, однако, Шиманов ополчается на, казалось бы, логично вытекающее из этого постулата предложение Солженицына разрешить советским народам выходить из состава СССР. Как примирить это непримиримое противоречие между изоляционизмом и империализмом? Шиманов делает это, конечно, с помощью все того же Провидения, для которого, естественно, не существует никаких парадоксов. « Советский Союз это не механический конгломерат разнородных наций... а МИСТИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ, состоящий из наций, дополняющих взаимно друг друга и составляющих во главе с русским народом МАЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО — начало и духовный детонатор для человечества большого » (24). Иначе говоря, СССР лишь лаборатория избранного народа для проведения практических опытов предстоящей « православизации мира ». В этом смысле русский народ — исключение. Ему, если перевести мистические озарения Шиманова на язык практической политики, позволено *иметь империю*. Закрытую, « непроницаемую », изолированную от других наций, покуда они не пожелают разговаривать с ней на ее языке, на языке « Третьего Рейха », виноват, « Третьего Рима », говоря словами Шиманова (25).

Так пытается он превратить свою утопию в абсолютно реалистичный (для будущих властите-

(23) Там же, стр. 16.

(24) Г. Шиманов. « Как понимать нашу историю », стр. 9.

(25) Шиманов посвятил этому специальную статью « Москва — Третий Рим » в « Московском сборнике » Леонида Бородина.

лей страны) проект имперско-изоляционистской России.

6.

ЛОГИКА ГИПОТЕЗЫ

Два года назад в Атланте (Джорджия), на VII Национальном Конвенте АААСС, мне случилось прочитать доклад « На полпути к Леонтьеву. Парадокс Солженицына ». В этом докладе содержалась гипотеза, первоначально высказанная мною (в подцензурной форме, разумеется) еще в 1969 г. в России в серии эссе, частично опубликованных теперь и в Америке (26). Согласно этой гипотезе, благородная и искренняя либерально-националистическая концепция, вдохновленная стремлением к возрождению своей родины, должна была выродиться « из искреннего протеста против деспотизма в его мощную апологию, пригодную для практической утилизации в борьбе против демократии » (27) (прошу прощения, что цитирую свой собственный доклад). Я понимаю, что такая гипотеза должна была прозвучать скорее как кощунственное пророчество эмигрантской Кассандры, нежели как бесстрастный анализ ученого (28). Тем

(26) А. Янов. « Славянофилы и Константин Леонтьев », Вопросы философии, 1969, № 8 /*Soviet Studies in Philosophy*, Fall 1970; « Загадка славянофильской критики », Вопросы литературы, 1969, № 5 /*International Journal of Sociology*, Sum-Fall 1976.

(27) СССР. Демократические альтернативы. Ахберг, 1976, стр. 195.

(28) Так и было оно воспринято всей поголовно русской эмигрантской прессой, которая наградила меня за нее титулами « расиста », « марксиста », « нациста » и т. п.

не менее мне кажется, что знакомство с концепцией Геннадия Шиманова может служить некоторым подтверждением этой гипотезы.

Моя гипотеза основывалась почти исключительно на исторической модели. На том, что столетия существования и борьбы русской политической оппозиции (исследованные мною в книге «История политической оппозиции в России») уже выработали некоторые устойчивые образцы, своего рода внутреннюю логику эволюции различных ее ветвей (29). Каковы же эти образцы?

1. Насколько можно судить по известной нам лучше всего модели трансформации классического славянофильства XIX века в агрессивное черносотенство века XX, националистические идеологии возникают в условиях автократии, если можно так выразиться, парами: одна «наверху» (внутри эстаблишмента), другая — «снизу» (внутри диссидентства). Я назвал бы их Эстаблишментарной правой и Диссидентской Правой.

2. Если первоначально обе эти фракции Правой находятся в отношениях конфронтации, т. е. гонят, преследуют и проклинаят друг друга, то в последующих фазах их эволюции — через ряд мучительных метаморфоз, через обоюдную корректировку, происходит процесс их взаимной адаптации и, в конечном счете, слияния. При этом

Впрочем, тот факт, что доклад мой так и не был опубликован ни на одном иностранном языке, свидетельствует, мне кажется, о том же самом.

(29) Я не исключаю, что эта логика и эти образцы приложимы и к развитию оппозиционных идей в других авторитарных режимах, т. е. носят в известной степени универсальный характер. Во всяком случае, интересно было бы, наверное, это проверить.

острие критики Диссидентской Правой постепенно перемещается с обличения режима на обличение « левого » западнического крыла диссидентства (аналогичный процесс должен, очевидно, происходить и в отношениях Эстаблишментарной Правой с « западническим » крылом Эстаблишмента). Обе фракции Правой инстинктивно ищут на этом этапе союза между собою, вырабатывая своеобразные формы разделения труда. Эстаблишментарная Правая, причастная к ресурсам военной и политической власти, не располагает ресурсами интеллектуальными. И наоборот, лишенная доступа к рычагам реальной власти Диссидентская Правая обладает зато способностью вырабатывать альтернативные идейные конструкции и идеологические оправдания грядущей трансформации режима: от состояния описанного Шимановым Кризиса к состоянию Порядка. На этой основе союз между ними приобретает актуальный политический смысл.

3. Если Диссидентская Правая действительно обладает свойством развиваться в направлении союза и в конечном счете слияния с идеологией режима, то становится возможным описать это движение идей в более или менее строгих терминах.

Для простоты изложения предположим здесь, что движение это проходит три главных фазы: от конфронтирующего с режимом либерального национализма (А-национализм) к стремящемуся к сотрудничеству с режимом национализму изоляционистско-тоталитарному (Б-национализм), и от него к сливающемуся с режимом милитарист-

ско-империалистическому национализму (В-национализм).

Парадокс здесь заключается в том, что каждая из этих последовательно сменяющих друг друга фаз Диссидентской Правой, оставаясь в принципе на почве одних и тех же постулатов, в то же время ревизует и отрицает свою предшественницу. В этом смысле (если брать только наиболее известные имена, символизирующие целые направления), можно было бы сказать, что Константин Леонтьев (представлявший в XIX веке Б-национализм и являющийся наиболее адекватным аналогом Геннадия Шиманова) был непримиримым противником и возмездием Ивану Аксакову (представлявшему А-национализм и являвшемуся наиболее адекватным аналогом Александра Солженицына), а Сергей Шарапов (представлявший В-национализм) был в свою очередь возмездием Леонтьеву.

Тут важно отметить, что, даже отрицая друг друга, они как бы вырастают друг из друга. Короче говоря, отличают их не столько идейные основы их мировоззрения, сколько интерпретация этих основ. Вот почему пытался я в своем докладе предостеречь Солженицына, что он «на полпути к Леонтьеву». Вот почему Шиманов представляет, по-моему, возмездие Солженицыну. За что? За развитую им систему постулатов, которая сделала возможным Шиманова (30). Та-

(30) Речь здесь идет, конечно, не о простой хронологии, не о том, что после чего было. В конце концов, такие антиподы, как Иван Аксаков, Данилевский, Леонтьев и Шарапов тоже были современниками. Весь клубок националистических концепций может даже одновременно

ким образом, если до сих пор мы говорили о том, что отличает концепцию Шиманова от концепции Солженицына, то теперь пора поговорить о том, что у них общего.

7.

ПОСТУПАТЫ ДИССИДЕНТСКОЙ ПРАВОЙ

Первый постулат гласит, что основу современного мирового кризиса составляет секуляризация человечества, отказ от истинного христианства как от монополярной формы идеологии, что делает цивилизацию бессильной противостоять наступлению языческого варварства (все не христианские народы, и в первую очередь Китай, по определению, выступают воплощением этого варварства).

Второй постулат гласит, что ядром и оплотом секулярного человечества является буржуазный Запад, который вследствие этого неминуемо оказывается, говоря словами Солженицына, «на оползнях, в немощи воли, в темноте о будущем, с

кипеть в котле правых идей. Речь идет о той последовательности, которая позволяет различным доктринам открыто и бесстрашно выходить на свет божий и доминировать в определенном секторе общественного сознания. Так, Осипов первый заявил, что спасение русской нации важнее гражданских прав. Но совсем оторваться от пуповины Демократического диссидентства, из которого он вышел, и приступить к прославлению Советской власти он не мог. Нужны были мощь и авторитет Солженицына, публично предложившего сделку авторитарным вождям России, чтоб стала возможной декларация Шиманова: «Выступать против нашей власти это значит идти против Бога» («Против течения», стр. 23). Мыслима ли была такая декларация, скажем, в 1968, т. е. до Осипова и до Солженицына?

раздерганной и сниженной душой », « в политическом кризисе и духовной растерянности » (31).

Третий постулат гласит, что из всех народов земли именно русский народ, в силу ряда исторических обстоятельств, в частности, имманентно присущего ему православия, а также того, что он пострадал более всех других народов, оказывается наименее секуляризованным. Поэтому именно он, если освободить его от секулярной идеологии, прежде других и более других способен к спасению самого себя, а затем и всего христианского человечества как от смертельной язвы буржуазной секулярности, так и от языческой « желтой опасности ».

Четвертый постулат гласит, что агентом секулярного Запада в России является тонкий слой « европеизировавшейся » интеллигенции, « публики », как говорил Аксаков, « образованщины », как говорит Солженицын, « цивилизованных дикарей », как скажет Шиманов, « сионских мудрецов », как скажет, вероятно, его грядущий преемник. Этот слой носителей « лжи » (или чуждой народу идеологии) должен быть устранен как главное препятствие на пути нации к « истинной вере ».

Пятый постулат гласит, что вопреки тому, чему учат нас уже столетия западные пророки, политические режимы или социальные системы на самом деле несущественны для обретения свободы (если иметь под нею в виду не фальшивую и искусственную « внешнюю свободу », а « свободу внутреннюю », свободу души). Вот почему, по

(31) « Из-под глыб », Париж, 1974, стр. 21, 25.

Солженицыну, « государственная система, существующая у нас, не тем страшна, что она не демократична, авторитарна... — в таких условиях человек еще может жить без вреда для своей духовной сущности » (32). Но если, спрашивается, в демократических системах человек не может жить без вреда для своей духовной сущности, а в деспотических может, то каким же тогда системам должно быть отдано предпочтение? Солженицын не делает этого вполне, согласитесь, логичного заключения. Шиманов сделает это заключение за него.

Таким законам следовала логика русской Правой в XIX веке. Таковы, мне кажется, общие идейные предпосылки, которые питают все последовательно сменяющие друг друга фазы идейной эволюции Диссидентской Правой и в России XX века: и Программу Е. Вагина и Л. Бородина, и проповедь В. Осипова и А. Скуратова в « Вече », и пафос А. Солженицына и В. Борисова в « Изпод глыб », и концепцию Г. Шиманова, и доктрину того, кто придет на смену ему.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если допустить, что высказанная мною в 1969 и в 1975 гипотеза хотя бы отчасти подтвердилась, то очевидно, что идейная эволюция Диссидентской Правой не закончилась на Шиманове, т. е. в фазе Б-национализма. Она лишь на середине своего пути. И Шиманова, в свою очередь, ожидает возмездие. Придут другие, более политически артикулированные и зловещие вожди. И предстоит им еще много работы.

В самом деле, ведь не разработана еще у современной диссидентской Правой концепция еврейской природы западной цивилизации (хотя она и была уже высказана в общих чертах С. Шарповым в начале XX века) (33). Не разработана, во-вторых, концепция «языческого» Китая как бича Божия, и России как форпоста христианской цивилизации в борьбе против «желтой опасности», как щита «меж двух враждебных рас — монголов и Европы» (Александр Блок). Не разработана, в-третьих, концепция физического устранения диссидентской интеллигенции с пути воспрянувшего под православной хоругвью народа русского, не доказана ее имманентная связь с еврействующим Западом.

Каковы, поэтому, могли бы быть предвидимые контуры доктрины В-национализма? Не поставит ли она в порядок дня политической жизни страны новый ГУЛАГ (для интеллигенции), новый геноцид (для евреев) и новый крестовый поход (для Китая)? Не использует ли она проповедь Солженицына и концепцию Шиманова как сырой материал для создания новой тоталитарной и милитаристской имперской доктрины? Так должна была бы выглядеть моя гипотеза сегодня, в 1977. Но две души живут в душе одной. Как ученый, я должен ждать подтверждения своей гипотезы. Как сын России, я от всего сердца желаю ей никогда не сбыться.

(32) «Из-под глыб», стр. 27.

(33) Александр Янов, «Detente after Brezhnev», Berkeley, Institut of International Studies стр. 45-50.

Приложение

ИЗ СОЧИНЕНИЙ Г.М. ШИМАНОВА

О советской государственной власти и православной теократии

« СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ БЕРЕМЕННА ТЕОКРАТИЕЙ... Советская власть предназначена стать инструментом для создания ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА на земле, которого не было еще никогда в мировой истории, но которое по Писанию (если верить ему) должно непременно быть. ...Ранее такой степени едиnodержавия никогда еще не было... Монархический строй... почти по либеральному благодушно относится к господствовавшим в обществе настроениям... И только теперь, с образованием Советского государства, появилась возможность того, чтобы ПАРТИЯ, самодержавно правящая страной и не имеющая конкурентов в политической жизни, ...руководствовалась не чем-то неопределенным, вроде наших былых Государей и Государынь, а — ПРОГРАММОЙ построения подлинно христианского общества... Если предположить грядущую трансформацию Коммунистической партии в ПРАВОСЛАВНУЮ ПАРТИЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, мы получили бы действительно ИДЕАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО... »

(« Идеальное государство », 29 мая 1975 г.)

О русской революции и православизации всего мира

« Революция в России имеет ВСЕМИРНОЕ

значение, а из этого следует, что и плоды ее должны распространиться со временем на весь мир. После Великого Октября речь должна идти о ПРАВОСЛАВИЗАЦИИ ВСЕГО МИРА и, как следствие этого, об известной русификации его».

«Идея грядущей ПРАВОСЛАВНОЙ ТЕОКРАТИИ — вот единственная творческая идея, которая имеется в наши дни».

(«Москва — Третий Рим», 7 августа 1974 г.)

О социалистическом реализме

«Нынешние процессы, происходящие в социалистическом реализме... свидетельствуют о том, что это искусство совсем не мертвое. Из его основных принципов — ЦЕЛОСТНОСТИ И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ — при их дальнейшем развитии вырастет со временем ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО».

(«Ответственность государства перед семьей. Четвертая статья о браке», 1975 г.)

О буржуазном искусстве Запада

«В современном мире культ прославленных Пикассо, Кафки, Набокова, Фрейда и других им подобных далеко не случаен. Эти раздутые до голиафских размеров идола и одновременно апостолы нигилизма нужны силам всемирного разложения, они просто необходимы для создания магического мифа о ПУСТОМ И БЕССМЫСЛЕННОМ мире, — господствующего ныне мифа, вампирически обнимающего и сосущего сознание современного человека и высасывающего из него его божественную человечность».

(Там же)

О будущей цензуре

« Современное общество в глубинах своих несомненно уже выстрадало ЦЕРКОВНОСТЬ. Но если это действительно так, то выстрадало и АСКЕЗУ, выстрадало и ЦЕНЗУРУ ДУХОВНУЮ, как единственно спасительную для достойной человека жизни. Ужасаться слову « цензура » могут лишь те, у кого либо еще не вызрело христианское понимание мира, либо просто не чиста совесть. Но, может быть, с этими последними и не стоит особенно церемониться ?.. »

(Там же)

О евреях и еврействе

« Поскольку евреям не удастся разложить до состояния навоза ни один народ, и ни одному народу не удастся, в свою очередь, ни ассимилировать евреев, ни вытолкнуть их из себя, ни нейтрализовать их разрушительное влияние, то в результате оказывается мучительная для обеих сторон, глухо урчащая и непрестающая борьба : почвенный организм страдает от рези и головокружения, причиняемых ему инородным малым организмом, а этот последний ощущает на себе малоприятное, а иногда и нестерпимое, давление (« дискриминацию ») большого организма, не желающего стать почвой (навозом) для беспечального процветания еврейства ».

« Евреям нет дела до того, что их щупальцы, въедающиеся в чужие организмы (евреи называют это « еврейским вкладом » в чужую культуру), бескровят и душат последние... »

(« Вестник Русского Христианского Движения » », № 121, Париж, 1977 г.)

Литература

и искусство

М. Каганская

ОТРЕЧЕНИЕ

От « Машеньки » к « Лолите »

Посвящается М.С.

*Отче наш, милосердный и милующий,
умилосердись над нами и дай сердцу
нашему понимать и разуметь...*

...Как человек, написавший « Машеньку », мог написать « Лолиту »? « Машенька » роман до того целомудренный, что целомудрие в нем распространяется и на самую неожиданную для литературы область — область психологических мотивировок: Набоков ставит последнюю точку там, где знатоки и любители глубин души человеческой вывели бы первую заглавную букву.

Вот здесь-то и обнаруживается первый надлом, первая трещина в « Золотой цепи », связывающей Владимира Набокова с русской классической традицией.

Кто в русской литературе Набокову всех ближе? Чье имя могло бы пойти ему в отчество? Тут, кажется, и к филологическим экспертам обращаться не надо: конечно, Бунин. Их стилистическая, т. е. для писательства — кровная,

близость с разбега бросается в глаза, завораживая взгляд деталью, подробностью, запахом, вкусом, цветом, жестом к самым зрачкам приближенного мира.

О Бунине не любивший его Виктор Шкловский зло сказал когда-то, что бунинская проза — это смесь пейзажей Тургенева и скандалов Достоевского. Оценка, может, и неверна, но генеалогия неоспорима: Тургенев так же различим в Бунине, как Бунин в Набокове, и, значит, по законам той же генеалогии, Тургенев должен был отозваться в каких-то наследственных достоинствах или — по вкусу — недостатках набоковской прозы.

В русских (на русском языке и на русскую тему написанных) романах Набокова Тургенев распознается по атмосфере того особого целомудрия, которое в русской жизни и русской культуре так и зовется: «тургеневским».

В толпе, полностью или полубобнаженной, человек, по уши одетый и наглухо застегнутый, выглядит голым. «Тургеневское целомудрие» Набокова экстравагантно не только на фоне тематической и словесной вседозволенности западной литературы (там уже давно «заголяются», и литературный стриптиз явно предшествовал эстраднему), но и в контексте литературы русской, куда более сдержанной и стыдливой.

Ведь и Бунин совершал экскурсии по местам, весьма удаленным от «дворянских гнезд» и акварельной психологии их обитателей: и «мистика пола», как изящно выражались в начале века, и психопатология, словом, все, чем жив «ночной человек», волновало бунинскую музу, то и дело прерывая и утяжеляя «легкое дыхание» его

прозы. Одной « Ликой » или « Натали » бунинский портрет не напишешь : и « Петлистые уши » нужны, и « Дело корнета Елагина ».

« Машенька », « Дар », « Подвиг » целомудренны в самом классическом, « тургеневском » смысле : целомудрен сюжет, целомудренно слово, целомудренны герои. Они влюбляются, любят, хотят, целуются, спят или не спят друг с другом, но никакие бездны секса под ними не разверзаются, пучины эротики не поглощают, противоестественные страсти не искушают и не иссушают. Если и бродит где-то на околицах « Машеньки » пара гомосексуалистов, то сказано о них так : « Особый оттенок, таинственная жеманность несколько отделяла их от остальных пансионеров, но говоря по совести, нельзя было порицать голубиное счастье этой безобидной четы ». И всё.

Это не просто психологическое целомудрие. С точки зрения русской литературной традиции, включая и тургеневскую, и бунинскую, — это вообще отсутствие психологии, привычно понимаемой по Достоевскому : « ...дьявол борется с Богом, а поле битвы — сердца человеческие »...

Психоанализ обогатил нас терминологией, но не изменил сущности.

Набокову изображающее слово важнее рефлектирующего и аналитического, поступок важнее психологии. Сам же поступок — не результат рефлексии, но скачок, сдвиг, лишь описанию, а не объяснению подвластный : было так — стало эдак.

Непонятно, почему Ганин любил Машеньку, непонятно, почему разлюбил; непонятно, почему герой « Подвига », вполне уже европеец и счаст-

ливо обойденный ностальгией, вдруг переходит советскую границу, чтобы, конечно же, в Советской России погибнуть.

А когда тема Набокова — зло и грех (роман «Король, дама, валет...») — это именно зло и грех в простой и неразложимой цельности и ясности, даже невинности: они так же не ведают соблазнов добра, как не искушаемы злом главные герои «Машеньки», «Подвига», «Дара». Набокову важны динамические, сюжето и словообразующие возможности греха, его «шахматные» ходы, та энергия монополярной страсти, которая прогибает окружающее пространство, высвобождая скрытые в вещах, людях, явлениях иные и новые образы, облики, лики.

Нравственная окраска страсти безразлична Набокову: в «Машеньке» или «Даре» мир и слово о нем волшебным образом преображены светлыми страстями, в романе «Король, дама, валет...» — черной похотью Марты и Ганса.

В отличие от богатой оттенками, но аморфной и потому антилитературной сферы душевного и сердечного, страсть — уже, сама по себе — форма и сюжет. Любовь — больше отношения с самим собой, страсть — с другим, безразлично, другой ли это человек, литература или шахматная игра.

Предмет страсти абсолютно реален, самодостаточен и дразняще независим от того, кто этой страстью томим и мучим, и, вместе с тем, — так у Набокова — в нем, страстью влекомом, органически присутствует как потребность, нет, больше: как данность, еще больше: как одаренность.

Мир Набокова — это мир дара в самом широком, но и самом точном смысле. Опять же безраз-

лично, добрый или злой, роковой или благодатный, но это — дар, т. е. то именно, что не зависит ни от свободы выбора, ни от свободы воли, ни от нравственности, ни от морали, что ни «еще», ни «уже», а просто — «вне» — личность, но только в этих даденых, дареных границах личность может — обречена! — жить, «сюжетослагаться», будь то литературная призванность, шахматная одаренность, подсудное ли влечение к «нимфеткам».

Так в «Защите Лужина» не только герой — весь мир живет по черно-белым законам шахматной доски.

«Лолита» — лишь завершение этой четкой творческой установки Набокова — установки на господство данности. Любой. Пусть не вводят нас в заблуждение патологические наклонности героя «Лолиты»: патология тем хороша и удобна, что заменяет психологию. Здесь все взятки — гладки, здесь не спрашивают «зачем», «почему», «за что» («она его за муки полюбила, а он ее — за состраданье к ним»), но только: «где», «когда», «как», «кого»?

Литературное достоинство патологии — в ее яркой криминальной сюжетности, ее тема — не скрытые мотивы и смутные влечения, а неслыханные действия, непостижимые поступки.

К пониманию и сочувствию герой «Лолиты» взывает так же мало, как три мушкетера или персонажи вестерна, но, подобно им, требует не сочувствия, а соучастия в эротической аванюре, сексуальном приключении и, конечно, — преступлении.

Но отсюда опять — вспять: как человек, напи-

савший «Лолиту», мог написать «Машеньку»? Как сестрами по отцу признать двух этих девочек: одну — с именем русским, домашним до провинциальности (душевной: и у души есть своя провинция), другую — с именем пряным, для русского слуха экзотичным, чуть не оперно-демоническим (Лолита... Карменсита...); не имя — воплощенный соблазн.

Как одной личностью признать последнего русского дворянского писателя Сирина, с его глухой, но чистой и возвышенной славой, и англоязычного, скандально известного автора «Лолиты», пришедшего из «ниоткуда», называемого «эмиграцией», в «никуда», называемое «мировой литературой»? Ведь, по совести, кроме мировой литературы, по какому еще ведомству можно числить Набокова? По русской литературе? А «Лолита», не одним лишь английским языком от русской литературы отлученная? Американский он писатель? А «Машенька»? А «Подвиг»? А «Дар»?

Но, как ни обширно литературное отечество Владимира Набокова, он, пожалуй, один там проживает: никому, кроме Набокова, мировую литературу «одомашнить», колонизировать не удалось, потому что ни земли такой, ни страны, ни части света — нет, не существует. Существует лишь общее понятие, риторический реверанс идеалам общечеловечности. В этом «нигде» и поселился Владимир Набоков...

«Лолита» — репортаж из преисподней, из эпицентра греха, о котором и отважнейшие покорители духовной бездны не очень-то распространялись. Как зубной болью, всю жизнь мучался этой

темой Достоевский, и перекошенные ноющие отзвуки ее слышны едва ли не в каждом его романе. А все же — не осмелился. И «Исповедь Ставрогина» в полный текст «Бесов» — не включил. Дрогнул.

«Машенька», повторяем, — роман целомудренный. С точки зрения эротики — просто вегетарианский: даже и не роман как «жанр отношений» — а воспоминание о романе, развернутое в роман воспоминаний. Обычно целомудрие приравнивается нравственности. Эту моральную арифметику Набоков крест-накрест перечеркивает.

Вспомним сюжет «Машеньки» и не побоимся продлить его в воображении, испытать повседневностью, что, на мой взгляд, дозволено и законно, ибо перед нами — не симфонии Андрея Белого и не метаморфозы Кафки, а достовернейший, кажется, фрагмент жизни реальной, грустной и запутанной.

Итак, герою романа, белоэмигранту Ганину, его сосед по пансиону, тоже белоэмигрант, показывает фотографию своей жены, оставшейся в России, и Ганин узнает в ней Машеньку — девушку, любимую им лет 9 назад, в ранней юности, в усадьбе, где-то в средней полосе России. Затем Ганин вспоминает все подробности своего романа, даже не вспоминает, а как бы переживает заново, и эти-то воспоминания, собственно, и составляют две трети романа по тексту и четыре дня по сюжету. А поскольку на исходе этих четырех дней Машенька должна приехать, Ганин поступает споро и решительно: в ночь накануне ее приезда он спаивает мужа до беспамятства, вы-

ходит на рассвете из дому, чтобы, встретив Машеньку на вокзале, увезти ее куда-то и там где-то начать с ней новую жизнь. Сидя в привокзальном сквере в ожидании поезда, « Ганин глядел на легкое небо, на сквозную крышу — и уже чувствовал с беспощадной ясностью, что роман его с Машенькой кончился навсегда. Он длился всего четыре дня — эти четыре дня были, быть может, счастливейшей порой его жизни.

Но теперь он до конца исчерпал свое воспоминание, до конца насытился им, и образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтом там, в доме теней, который сам уже стал воспоминанием. И, кроме этого образа, другой Машеньки нет и быть не может.

Он дождался той минуты, когда по железному мосту медленно прокатил шедший с севера экспресс. Прокатил, скрылся за фасадом вокзала. Тогда он поднял свои чемоданы, крикнул таксомотор и велел ему ехать на другой вокзал, в конце города. Он выбрал поезд, уходивший через полчаса на юго-запад Германии, заплатил за билет четверть своего состояния и с приятным волнением подумал о том, как без всяких виз проберется через границу — а там Франция, Прованс, а дальше — море. И когда поезд тронулся, он задремал, уткнувшись лицом в складки макинтоша, висевшего с крюка над деревянной лавкой ».

А теперь представьте : после большевистской России Машенька, измученная, приезжает в чужой, незнакомый город к мужу, пусть нелюбимому (это ясно), но единственному близкому человеку, готовому о ней заботиться. И он ее не

встречает. Ну, с трудом, со слезами, собрав остатки гимназического немецкого, она до пансиона все же доберется (благо, адрес известен), успокоится, обживется, а там так же случайно узнает о Ганине, как он случайно узнал о ней. И то узнает, что фотографию ее он видел, о приезде — знал, в день приезда — исчез.

Так примерно выглядел бы роман «Ганин», написанный Набоковым от лица Машеньки. (Заметим, кстати, что та же открытость, та же возможность «переписать», пересмотреть события глазами второго участника сюжетного дуэта, то же неудовлетворяемое, но раздраженное любопытство к другой версии, — заложены в структуре «Лолиты», в ее эмоциональном и композиционном подтексте. Странно, что никто до сих пор столь явным приглашением к соавторству не воспользовался...)

Но прежде, чем обманется Машенька, все эти годы Ганина любившая (вместе с Ганиным в этом убежден и читатель), обманется сам читатель: втянутый реалистической магией набоковского письма в чувства и внутренний мир героя, он простодушно поверил ему, привязался к Машеньке (ведь ганинское прошлое — это читательское настоящее), успел полюбить их обоих, озабочен их совместной судьбой — и вдруг повис над пустотой, над психологическим абсурдом. Можно понять — и очень просто — пресыщение женщиной (в романе такая линия есть: Ганин-Людмила), но как осмыслить, оправдать отказ, отречение от живой женщины оттого только, что исчерпано воспоминание о ней, что не ею самою, но образом ее «насытился»?

Преднамеренная холодность, злорадная ирония мерещится в этой психологической цезуре: поставив эпиграфом к книге пушкинские строки «...вспомня прежних лет романы, вспомня прежнюю любовь...» — что, ожидалось, почувствует автор, а вместе с ним герой и читатель? Сожаление? Нежность? Умиление? Печаль, которая обязательно «светла» и «полна тобою»?

А ничего подобного: то почувствует, что любой пустяк, сейчас, в это мгновение, случайно, как соринка, в глаз влетевший (например, укладка крыши), «живее самой живой мечты о минувшем».

Можно было бы предположить, что Набоковым блестяще выполнен урок на заданную экзистенциалистскую тему «отчужденности» людей друг от друга, их — друг для друга — непроницаемости, непостижимости, или, на худой конец, сработана очередная изящная — в бунинской манере — романная зарисовка «странностей любви», — если бы не присутствовала в набоковской книге не вторая и даже не первая, а единственная и главная тема: Россия.

«Машенька» — роман и героиня — это и есть Россия. Не символ, не аллегория, не метафора, не аналогия, а тождество, только художнику доступное слияние осязаемой чувственной конкретности с духовной реальностью.

Это не Россия — культура, пусть в плоть и кровь вошедшая, уже неотделимая, неотличимая даже от собственного «я» (такова Россия в «Даре», и такую Родину воистину можно унести с собой: собой), это не дух родины, а ее тело, Россия-Машенька, отторгнутая и отобранная, как

только может быть отторгнуто и отобрано тело любимого существа.

В « Даре » Набоков имитирует мемуарную прозу пушкинской эпохи — в « Машеньке » русская поэзия представлена стихками из отрывного календаря, да еще самыми злокачественными: « Сброшу с себя я оковы любви и постараюсь забыться, налейте полнее бокалы вина, дайте вином мне упиться... » Но Машенька в письме цитирует это позорище, Ганин любит Машеньку, а в берлинском пансионе доживает свои последние черные эмигрантские дни поэт Портнягин, некогда популярный автор отрывного календаря...

Отрывной календарь, стихи Портнягина, машенькины письма, милые и неумные, среднерусские пейзажи, места, воспетые Рылеевым (не Пушкиным, не Лермонтовым, но поэтом дара куда более скромного) — это Россия не в блеске и бессмертии великой русской культуры, но Россия провинциальная, в преходящей прелести телесного своего бытия со всеми его ужимочками, стихками, смешками, прибауточками, перемазанными машенькиными пальцами...

Так ведь только это — телесное — в каждой, любой любви — главное. Россия-культура — всеобщее, в конце концов, достояние, Россия-Машенька — только твое.

По культуре ностальгию не испытывают, ностальгия — томление тела, а не духа, смертная тоска по телу родины.

Машеньку-тело родины любил Ганин в своих воспоминаниях, образом родины, а не одним только женским, насытился, от них обеих — Машеньки и России — во Францию, в Прованс и дальше

к морю — уехал. Спрашивать « почему » — бессмысленно. Зато вопрос « для чего ? », « во имя чего уехал ? » — оправдан: сам текст на него отвечает.

« Он остановился в маленьком сквере около вокзала и сел на ту же скамейку, где еще так недавно вспоминал тиф, усадьбу, предчувствие Машеньки.

Через час она приедет, ее муж спит мертвым сном, и он, Ганин, собирается ее встретить.

А за садиком строили дом. Он видел желтый деревянный переплет, — скелет крыши, кое-где уже заполненный черепицей.

Работа, несмотря на ранний час, уже шла. На легком переплете в утреннем небе синели фигуры рабочих. Один двигался по самому хребту, легко и вольно, как будто собирался улететь.

Золотом отливал на солнце деревянный переплет, и на нем двое других рабочих передавали третьему ломти черепицы.

Они лежали навзничь, на одной линии, как на лестнице, и нижний поднимал наверх через голову красный ломоть, похожий на большую книгу, и средний брал черепицу и тем же движением, отклонившись совсем назад и выбрасывая руки, передавал ее верхнему рабочему. Эта ленивая ровная передача действовала успокоительно, этот желтый блеск свежего дерева был живее самой живой мечты... »

Уж не закону ли каприза подчинена композиция романа? Реальность, живая жизнь мгновенно вытеснила образ Машеньки из сознания Ганина в конце романа, как в его начале образ Машеньки

на четыре дня вытеснил реальную действительность.

Но в том-то и дело, что берлинская жизнь в русском пансионе реальной действительностью для Ганина не была.

Над пансионными комнатами, над заобеденными разговорами о России, над черными потертыми шелками Клары и ее безнадежной влюбленностью в Ганина, над грустной и жалкой его связью с Людмилой, над предсмертной одышкой Портнягина, грохотом паровозов и сыростью ночных улиц, — словом, над всей вереницей людей, чувств и предметов, вызванных к доподлинной жизни набоковским словом, — господствует один образ, достоверность и доподлинность отрицающий: тень.

Тень строит свой сюжет, свой мир, свою систему символов. Тень берет себе на службу кинематограф, в котором Ганин иногда подрабатывает статистом и, случайно увидев и узнав себя на экране, думает, « что вот теперь его тень будет странствовать из города в город, с экрана на экран », и что вообще « безымянные тени наши пущены по миру »; тень поселяется в русском пансионе, уподобляя себе всех его обитателей (« ...унылый дом, где жило семь потерянных русских теней... »); тень — эмиграция, а сотоварищи по ней — « ...тени изгнаннического сна », и уже в самом конце — « ... образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтом там, в доме теней, который сам уже стал воспоминанием ».

Ганин отказывается от теней и снов, подменивших реальность, от жизни-иллюзиона, которая

ничего, кроме роли статиста, предложить не может.

« Берлинская » Машенька, она же — « берлинская », зарубежная Россия — восьмая тень в ряду уже существующих семи.

Ганин предусмотрительней Орфея: спустившись в царство теней, он не стал дожидаться, пока Эвридика оглянется, но подхватил чемодан и — прочь из « Германии туманной », из немецко-русского Аида, на юг, в Прованс, к средиземноморской лазури.

Ганин жить захотел, и если, как уже сказано нами, мир Набокова — это мир дара, то самый ведь несомненный, самый бесспорный дар есть жизнь, и потому « желтый блеск дерева живее самой живой мечты ».

А для выбравшего дар жизни в ее живом блеске припрятаны и другие дары, менее объемные, но немногим менее ценные. Вот рабочий, который « двигался по самому хребту легко и вольно, как будто собирался улететь... » Не протянута ли отсюда ниточка к набоковскому имени — Сири́н? Имени, а не псевдониму: псевдоним — по идее — что-то в авторской личности (если и не всю ее) призван скрыть, утаить, а имя — раскрытие, самоопознание.

Имя « Сири́н » и несет в себе самораскрытие: райская птица Сири́н, близнец птицы Феникс, оставившей секрет бессмертия, которым никто, кроме Набокова, не сумел воспользоваться: возрождение из пепла — прошлого.

Красный ломоть черепицы, « похожий на большую книгу », часто упоминаемый « переплет крыши »: от образа книги переплет неотделим, как

буква, шрифт, строчка... Крыша в золотом сиянии переплета устлана черепицами-книгами. Одна из них — «Лолита». «Машенька» — начало пути к ней: ценой пепла. Не того, который «стучит в сердца», а того, который сами добываем, сжигая прошлое в себе и себя — прошлого. Чтобы возродиться, воскреснуть, жить, писать книги.

Но и помня о судьбе лотовой жены, но и всем существом отвращаясь от участи соляного столба, но и предпочтя жизнь без Эвридики жизни с ней в царстве теней-воспоминаний, как, спрашивается, уйти от них — от себя?

Ведь личность держится единством опыта, а единство опыта — памятью, ее непрерывностью. Ведь только эту внутреннюю непрерывность может личность противопоставить внешней изменчивости (при нормальном течении событий), тем более — ломкам и катастрофам, выбрасывающим ее из родных времени и пространства, истории и традиции, языка, среды и культуры.

Для русских, всегда почти стихийных почвенников, независимо от идеологии и хронологии чревно связанных с Россией, эмиграция — экзистенциальная катастрофа. Она превращает личность в добровольного данника прошлого, пожизненного донора, питающего свежей, сегодняшней кровью свое усыхающее вчерашнее «я».

Мы привычно подчиняем духовную жизнь «данетной» логике жизни физической: память (не запоминающее устройство, а нравственный принцип) — жизнь, — говорим мы, забвение — смерть. Третьего не дано.

Набоков пребывает внутри парадокса, который честнее было бы назвать чудом, потому что Набо-

ков — прямое нарушение законов моральной и психологической природы. Он уходит от прошлого, благодаря полному им владению, абсолютному с ним слиянию: физиология набоковского духа такова, что владение и слияние ведут у него к пресыщению (« насыщению образом »).

В процессе воспоминаний, каким он дан в « Машеньке », угадывается некая примесь, аналогичная, а то и тождественная физической близости, телесному обладанию.

Ганин живет образом Машеньки, как герой « Лолиты » жил с нею в начале романа: нужны были ему лишь образы, лишь символы ее телесного существования, чтобы с ним произошло то, для чего нормальному мужчине необходима предельная телесная близость.

В психопатологии эта странность, как известно, именуется « фетишизмом », но, отбросив медицину и брезгливость, подумайте, какого мощного воображения фетишизм требует, какой поистине художественный дар заключен в этой способности довольствоваться малым, в этом переживании целого по его части, детали... Какой это творческий акт, какая метафора искусства, не горний, а преисподний, но оттого не менее сильный и правдивый его образ!.. Как и вся « Лолита »...

Но на « ганинской » высоте герой « Лолиты » не удержался: он пал, впал в блуд, грех, страшней которого не сыскать: « ...аще кто соблазнит хоть единого из малых сих... » И, хоть Набоков и не утаил, что « малые сии » сами кого хочешь соблазнят, для прихотливой морали нашей грех не становится простительней. И для этого именно греха Набоков, пожалуй, единственный раз, пред-

лагает какое-то подобие психологической мотивировки: оказывается, самой первой и самой сильной (но отнюдь не тургеневски чистой) любовью героя была его сверстница, через год после их встречи умершая. Ударение падает, пожалуй, не на саму любовь к тринадцатилетней девочке, а на раннюю ее смерть. К букету пороков героя прибавляется еще и некрофилия, по крайней мере, некая смутная к ней склонность.

Прошлое героя подброшено, как наживка, на которую нынешний читатель, куда более искусный в психоанализе, чем в искусстве, непременно клюнет. В предисловии к «Лолите» Набоков высмеял психоанализ, отравив фрейдистам радость доступного, почти дармового пиршества: не только детство героя — весь роман явно провоцирует и разжигает психоаналитические аппетиты и столь же явно не намерен их удовлетворять.

В применении к литературе психология и психоанализ похожи на транспарант с надписью «мост», перекинутый над пропастью.

Подлинный источник греха «Лолиты», как это и положено литературе, — в семантике и символике авторского миропонимания. Герой «Лолиты», как и герой «Машеньки», — эмигрантского роду-племени, его отношение к прошлому — особое, исключительное, для личности эмигранта — решающее.

И поиски детского рая, детских ощущений, и привкус некрофилии, и комплекс «нимфетки», — словом, вся психологическая внешность романа, связанная с кругом инфантильных образов и переживаний, читается как знак болезненной

приверженности прошлому, а сама приверженность и есть патология, некрофилия, « нимфеточный » грех.

Судьба К.К. — возможная судьба Ганина (ведь Машенька, когда он полюбил ее, была всего на три года Лолиты старше), если бы не привидилась ему в чистенькое берлинское утро птица Сирин, не взмахнула крыльями, не поманила за собой. Если бы не чудо...

Бунинская пластика, удерживающая прошлое, чтобы превратить его в настоящее, а настоящее — в вечное, Набокову нужна, чтобы прошлое — изжить.

Чем полнее набоковское слово овладевает предметом (а дан Набокову дар безраздельного, неограниченного владения), тем решительней и бесповоротней будет предмет отброшен. Бунинская стилистика послужила анти-бунинской поэтике.

Психологическое целомудрие Набокова — не тургеневского, а сиринского происхождения: осененный чудом преображения, ниспосланного дара, безмотивной реальности, Набоков отказывается от разнузданного (особенно после Достоевского) психологизма русской литературы.

Эпиграф к « Машеньке » — « ...вспомня прежних лет романы, вспомня прежнюю любовь... » — в ее контексте — не только отказ от « прежней любви », но и от романа-жанра литературы, каким его создала и любила русская литературная традиция с ее концепцией насквозь психологизированного человека (« ...ищу человеческое в человеке... »).

Набоков открыл в человеке пространства, свободные от психологии.

Когда в начале « Машеньки » Набоков пишет о Ганине : « Он был из породы людей, которые умеют добиваться, достигать, настигать, но совершенно неспособны ни к отречению, ни к бегству, — что в конце концов одно и то же », — а в финале книги оказывается, что Ганин прекрасно способен и к отречению и к бегству — это не психологическое противоречие, но отрицание психологии чудом, взрывом, скачком. Не знаю, были ли дар бегства и отречения принят Набоковым с благодарностью и всю жизнь носим со страхом утратить ?

Быть может, « грех "Лолиты" », грех инфантильной привязанности к прошлому, уравновешивает противоположный « грех "Машеньки" », грех мужественной самодостаточности, отречения и бегства. Целомудрие « Машеньки » — бесчеловечно, из грешного морока « Лолиты » рождается самая просветленная любовь, о какой когда-либо поведала миру литература. « Лолита » — исповедь, но не покаяние, а искупление, и, значит, вечный образ вечного искусства.

Оно же всегда и неизменно — и грех, и освобождение от него.

У Набокова никому и ничему учиться нельзя : чудо не учит. Просто жил человек, наделенный даром левитации. Жил писатель, в дополнение к уже существующим литературам — русской, английской, французской... — создавший еще одну литературу — набоковскую. И есть в ней все, чему в литературе быть положено : романы, стихи, рассказы, переводы.

Созданное Набоковым есть чудо и по качеству творения, и по способу его : из абсолютной свобо-

ды, из птичьей беспочвенности, из последовательности отречений и побегов, из душевного холода и духовной страсти.

Чудо не учит — оно соблазняет: что если впрямь отказавшись, отрекшись, сбежав, — взмахнешь крыльями, взлетишь Сириным?..

Здесь никто не ответит, никто не поможет, здесь только и остается, что молиться в одиночку да втихомолку: «...Отче наш... дай сердцу нашему понимать и разуметь...»

Вот разве что: всмотритесь в портрет Набокова, предусмотрительно и умно сопровождающий его книги. Разве не читается в этом надменном и брызгливом лице последнего римлянина, случайно обряженного в чеховское пенсне и английский клетчатый пиджак, — отчетливое: «Не советую»?

**ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНЫЙ ФОНД
«МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ»**

Вышел в свет, рассылается подписчикам и продается в книжных магазинах первый номер журнала «22». Периодичность журнала — 6 номеров в год. В журнале «22» сотрудничают и печатаются: Фридрих Дюрренматт, Амос Oz, Александр Янов, Сол Белоу, Борис Ямпольский, Майя Каганская, Яков Цигельман, Ицхак Башевис-Зингер, Лешек Колаковский, Даниил Дар, Наталия Рубинштейн и другие авторы.

Цена номера 16 франков.

Подписка по адресу:

Mme Sotnikoff, Tel-Aviv, p.b. 23121. Israël
Пересылка за счет подписчика.

Абрам Терц

АНЕКДОТ В АНЕКДОТЕ

Стоит сойтись двум русским или трем евреям, вообще гражданам любой национальности, но советской, российской выучки, либо чешской или польской — социалистической — принадлежности, как мы наперебой, оспаривая друг друга, принимаемся травить анекдоты. Все равно — какие. Приятно задать вопрос: «А вы этот анекдот помните: как однажды Василий Иванович Чапаев...?» и услышать в ответ: «Ну как же! Конечно, помню. А вот я вам расскажу...» — Приятно знать, приятно видеть человека, настроенного на анекдоты, предрасположенного к анекдотам. Значит, свои люди. Понимаем с полуслова. Сошлись.

Мы настолько привыкли, сойдясь в тесной компании, как последнюю новость рассказывать анекдоты или хотя бы вспоминать, кто что помнит, что сами не видим, не замечаем своего счастья: что мы живем при анекдотах — в эпоху устного народного творчества, в эпоху процветания громадного фольклорного жанра.

А ведь мы — филологи, историки, этнографы — иногда мечтаем: жить бы мне, например, в эпоху средневековья или в неолите, когда складывались и запросто пелись все эти былины, саги, сказки. Сколько бы я вынес оттуда великих истин

Доклад был прочитан на Женевском коллоквиуме (13-15 апреля 1978) — «Одна или две русские литературы?».

и загадок, которые до сих пор пребывают во тьме неизвестности! Я был бы сопричастен поэзии у самых ее истоков!.. А между тем, на наших глазах, рядом, совершается некое действие, в котором мы сами принимаем невольное участие и до которого покуда не дотянулась наука. Это — фольклор, анекдот. Не пора ли поэтому взглянуть на него внимательнее?..

Нашему вниманию мешает, помимо близости к факту его существования, то обстоятельство, что анекдот сам по себе не претендует на многое. Не то что героический эпос. Или — свадебный обряд. Народный хор имени Пятницкого. А так себе — пустяк, мелочь ежедневная, анекдот...

С другой стороны, он всегда более или менее неприличен и непристойен. Пусть (предположим) он не задевает и не затрагивает иногда обычной для его поворотов фривольной, скабрёзной тематики. Все равно он непристойен. Все равно в основании жанра и в условиях его работы, его развития и бытования лежит нарушение каких-то общепринятых норм поведения и речи. Анекдот словно хочет, чтобы его на этом самом месте запретили, ликвидировали, и на этом предположении и ожидании — живет. Дайте ему свободу, отмените запреты, и он — сдохнет...

Неслучайно появилась целая серия анекдотов, рассчитанная на преодоление самых последних барьеров. Я имею в виду так называемые анекдоты на небрезгливость. Рассказчик и слушатель (а значит, и мы с вами) должны в этом случае набраться храбрости, немного поднапрячься и сдержаться невольно подступающий к горлу комок рвоты. То есть нужно отрешиться от его

натурального образа, выйти на чистый воздух, в сферу эстетики, филологии, и не воспринимать слова и фабулу анекдота буквально и слишком близко к сердцу. В том-то и заключается эффект, художественный эффект этой серии: хватит ли пороха? а ну посмотрим, на что ты способен! Экзамен на выдержку, на чистое искусство задает нам анекдот. Провокация или проба на прочность, на принадлежность к жанру.

Экзамен происходит таким образом. Два туберкулезника (или — для красочности, для смака — два сифилитика) харкают в стакан, пока он не наполнится. А третий сотрапезник, побившись об заклад, на пари беретса всё это выпить одним залпом. Начинается экзамен, на котором мы присутствуем в виде жюри. Он пьет спокойно и медленно, почти до дна. Однако под конец почему-то не выдерживает и отставляет стакан. «Что? брезгуешь?!» — злорадно спрашивают эти двое за столом. «Да нет, — печально отвечает испытатель. — Сопля попалась: перекусить не сумел!..»

Пересказывая эти несчастные фабулы, я понимаю, что говорю недопустимое, что выслушивать меня неприятно и тошнотворно. Но мне, занимаясь анекдотом сугубо экспериментально, ничего не остается, как с самого начала, заранее, сжечь за собою все мосты и корабли. И все извинения предварительно вынести за скобку как условие разговора. В противном случае («брезгуешь?») не стоит братьса за эту тему. Анекдот не просто груб, он по-своему привередлив, капризен и всегда предполагает переход границы дозволенного. Без этого перехода в запретную зону он просто не существует. Напрашиваясь на скандал, на вмеша-

тельство морали (если не полиции), он выискивает — « своих », « достойных », « посвященных ». И вместе с тем для кого-то он будет наверняка оскорбителен, нестерпим, несносен. И это в его натуре, которой он откровенно любителю и которую подчеркнуто и многократно осознает.

Надо сказать, что анекдот вообще обладает каким-то повышенным сознанием собственного жанра, собственной формы. Он сам себя воспроизводит, на себя оглядывается, словно помнит, что он не кто-нибудь, а анекдот. Может быть, к нему применим известный в экономике термин: « воспроизводство производства ». В том смысле, что анекдот склонен возводить себя в квадрат, а то и в куб, опираясь на свои изначальные жанровые данные. Скажем, по самой природе анекдот всегда краток. Но появляются вдруг варианты со специальным заданием — анекдоты на краткость. Или рождаются вдруг анекдоты абсурдистские, хотя любой анекдот в принципе абсурден. И по той же, вероятно, причине преувеличенного жанрового самосознания возникают время от времени анекдоты об анекдотах. Как правило, они возвращают нас к теме запрета как к важнейшему условию своего возникновения. Запрет, естественно, должен быть нарушен. Например: « — Давайте, — решают, — не будем больше рассказывать анекдоты о евреях. Всё евреи да евреи. Надоело. — Давайте не будем, — соглашается собеседник. — Вот идут два японца, и один другому говорит: — Послушай, Хаим... »

Или в одной компании любителей и знатоков анекдотов все сюжеты уже настолько известны, что их для краткости и простоты изложения

обозначили цифрами, и, встречаясь по вечерам, рассказчики называют поочередно только номер анекдота. Появляется новичок. Кто-то произносит: « 15 ». — Все смеются. Другой, подумав, продолжает: « 24 ». И опять все смеются. Доходит очередь до новичка. Дай, думает, назову любую цифру — и говорит наобум: « 67 ». Молчание. Все мрачнеют. Встает какой-то верзила и подносит ему к носу кулак: « Как ты посмел, подлец, — при дамах? !. »

Множество анекдотов имеет форму табу, которое опять-таки подлежит бесцеремонному нарушению, что и становится солью рассказа. Табу на нецензурное слово. На ругань. На политическую крамолу. На правду. На положение вещей. На государственную тайну. С другой стороны, строжайшее соблюдение запрета (либо осторожный, хитроумный его обход), как перед плотиной, громя нелепость на нелепость, до геркулесовых столпов, делает само запрещение комически-бессмысленным. Запрет взрывает себя. Так построенны, в частности, многие ответы « армянского радио ». И вообще « ответы на вопросы », на которые нельзя или неизвестно, что ответить.

Допустим, иностранный корреспондент, в сопровождении парторга завода обходя заводской цех, внезапно обращается за интервью к первому же попавшемуся рабочему у станка:

— Расскажите, какая у вас квартира, — спрашивает корреспондент.

— У меня одна комната, — отвечает рабочий. Но парторг, за спиной иностранца, делает ему большие глаза, и рабочий продолжает:

— Одна комната... окнами на юг, вторая — на восток, и третья — на запад.

— А какая у вас зарплата?

— Сто рублей.

Парторг снова делает большие глаза.

— Сто рублей... в неделю, — уточняет рабочий.

— О! Значит, 400 в месяц! Неплохо. Ну и последний вопрос: какое у вас хобби?

— 15 сантиметров.

Парторг снова делает большие глаза, и рабочий поясняет:

— 15 сантиметров — в диаметре.

В закрытом обществе советского типа, где всевозможные запреты (и, в особенности, — на слово) принимают характер параметров самодовольного, полного в своей замкнутости бытия, анекдот не только служит единственной отдушиной, но и является, по сути, моделью существования. Он выполняет роль микрокосма в макрокосме и является своего рода монадой миропорядка. Он носится в воздухе, но не в виде пыли, а в виде споры, которая содержит в проекте, в зачатке всё, что нужно для души, и способна при первом удобном случае воспроизвести организм в целом. Отсюда его готовность на универсальные формулы мироздания — эпохи, истории или страны. Я имею в виду не просто склонность этого жанра к финальным, венчающим формулировкам, но — стремление представить из себя некую исчерпывающую схему, универсум. Это и есть тенденция воссоздать «анекдот в анекдоте», когда сам жанр осознает себя ядром и прообразом более широкого, всеобъемлющего анекдота, каким и выступает по отношению к нему весь окружающий

мир, действительность, наподобие огромной матрешки, заключающей в себе маленькую матрешку — анекдот. Вот эти формулы эпохи (из анекдотов 30-ых годов): « — Как живете? — Как в трамвае: одни — сидят, другие — дрожат ». Или: игра в шарады. В поезде старый еврей загадывает шараду: « — Первый слог моей фамилии — это то, что обещал нам Ленин. А второй слог моей фамилии — это то, что дал нам Сталин... » С верхних полок купе спрыгивают двое в штатском: « — Товарищ Р а й х е р, — пройдемте!.. » В данном случае фамилия старика — шарада всей советской истории.

Естественно, тема з а п р е т а, как, может быть, никогда и нигде в истории словесности, становится основанием и движущим стимулом советского анекдота. И она же придает ему ту жанровую локальность, замкнутость, самодостаточность, которые, вообще будучи свойственны анекдоту как особой поэтической форме, позволяют ему именно здесь, на советской, запретной почве, достичь степеней развития и процветания. Ибо, нарушая запрет, исполняя свою функцию, анекдот, собственно говоря, себя исчерпывает и превращается в законченное, закругленное тело, в форму, в космос. Его выход в эту недозволенную развязку тотален и окончателен и не требует никаких продолжений и разъяснений. Свобода анекдота состоит единственно в переступлении черты, границы, что, таким образом, будучи совершено и достигнуто, делает его поэтически совершенным и, как некая самоцель, сообщает ему динамичную, но строго очерченную композицию и подобие итога — сосредоточенного в

самом себе, крепкого парадокса. Дело сделано, анекдот рассказан, и — баста!

Но эти же свойства анекдота, не ищущего выхода ни в мораль, ни в агитацию, ни в политику, ни в психологию, ни даже в действительность (поскольку он сам по себе представляет идеальный образ действительности), это чувство собственной формы, владеющее анекдотом, позволяют его рассматривать и расценивать в качестве образца « чистого искусства » или « искусства для искусства ». Никаких задач, кроме развлекательных и украшающих жизнь, он перед собою не ставит и вносит дозу приятного эстетизма в наш меркантильный век. Другое дело, что, как это вообще присуще искусству, анекдот выполняет немалую работу по части приведения действительности в относительную стройность, в порядок, в чувство и разум, в понимание себя как живой, интересной и занимательной материи. От анекдота, под анекдотом действительность, я бы сказал, начинает шевелиться. У нее появляется сюжет, повадка, феноменальность. Тем более, что анекдот обыкновенно работает на таком низком уровне быта или исторического бытия, на такой плоскости социального сознания, где, казалось бы, нет ничего примечательного, ничего достойного поэтического вмешательства. И вот вдруг выясняется: что значит « вступить в партию » и что такое « партийная линия » (« отклонялся вместе с линией »), что значит « диамат » и « демократический централизм » (это когда каждый в отдельности « против », а все вместе « за »), « культ личности » и « космополиты », и вообще каков из себя человек, даже не имеющий лица, — всё это дает нам

понять и представить анекдот. Он пронизывает нашу историю наподобие пунктира и ее гальванизирует. Он не просто воссоздает, а восстанавливает действительность, которая под его воздействием становится хоть на что-то путное похожей, становится наконец-то действительностью, то есть чем-то более или менее реальным. В виде отвлеченного и гипотетического вопроса хочется спросить: а не есть ли анекдот вообще (как и все искусство) выражение явленности бытия, сколько бы то ни опускалось в болото всеобщей инерции и мертвой нивелировки?..

И, может быть, именно поэтому с анекдотом довольно тесно связана история так называемого реализма. Я не могу и не буду удаляться вглубь веков, когда и сам анекдот, как жанр, представлял собою отличную от современного бытования форму. Но по-видимому неслучайно где-то у истоков реализма стоит «Декамерон» как собрание анекдотов. А в русской литературе сильнейшие проявления реализма связаны, в частности, с анекдотами Гоголя и Чехова. А ведь Гоголь, представляется, был прежде всего фантастом. Но он увидел заманчивую фантастичность самой тривиальной жизни и с помощью анекдота создал до того явственный, явленный образ реальности, что и зачислен в реалисты.

С другой стороны, анекдот никоим образом не есть просто отражение жизни в ее нормальном течении, в ее логической и визуальной последовательности. Он строится вопреки логике и даже вопреки тому, что дается нам в непосредственном житейском опыте. Не знаю, существует ли такое понятие: обратная логическая связь (если не су-

ществует, то его следует ввести в связи с теорией анекдота). По типу анекдотической « женской логики » : « — Мой муж мне так изменяет, так изменяет, что я уже не знаю, от кого беременна !.. » Человек думает сказать одно, а говорит совершенно другое. Но это « другое » и оказывается истинной причиной и восстанавливает логическую цепь задом наперед, от конца к началу, в то время как для самого говорящего это и есть « логика ».

Подобных примеров немало в советской словесности, главным образом газетной, но затрагивающей и быт, и политику, и художественную литературу, и сам способ и образ мышления советского человека. Когда, допустим, в новой Конституции, помимо свободы слова, свободы печати и демонстраций, направленных на укрепление социалистического общества, предусматривается еще дополнительное, специальное право на критику недостатков в работе отдельных учреждений и предприятий. Дескать, мы настолько уже свободны и гуманны, что можем даже себе позволить критиковать недостатки в работе (в укреплении достоинств). Или, если идти дальше, даруется « право на самокритику ». Профанация ? Издевательство ? Нет, обратная логическая связь, подразумевающая, что никаких прав, кроме как работать всё больше и лучше, человеку не дается. Конечный вывод (« право на самокритику ») служит посылкой, переворачивающей всю цепь предыдущих доказательств на тему, как хорошо и свободно у нас живется. Мысль движется от конца к началу. И соответственно — в обратном порядке (по принципу алогизма) — строится и

читается пресса. Свобода становится рабством, как нечто само собой разумеющееся, мир — войною, бедность — богатством и т. д.

На этой широкой основе и создаются анекдоты. Вроде прогнозов, как мы будем жить при коммунизме. У каждого будет свой персональный вертолет и свой односторонний телевизор. Видишь по телевизору, что в Туле крупы дают, садишься на вертолет и летишь за крупой в Тулу...

Известно, что в анекдоте самое важное неожиданная, коронная концовка, с которой, надо думать, и начинается процесс формообразования анекдота — от конца к началу. Коммунизм в этом смысле, как идеальная концовка всей мировой истории, открывает массу возможностей, чтобы, танцуя от нее, путем обратной логики прийти от конца к началу, от идеальной, фантастической цели к ее грубому претворению в реальность сегодняшнего дня.

Нетрудно заметить также, что анекдоты создаются чаще всего на пересечении или на стыке обыденного и сверхъестественного, тривиального и невероятного, близкого и далекого, своего и чужого. Полоса полного отчуждения неблагоприятна для анекдота. Так же, как, по-видимому, и слишком большая близость, самоотождествление рассказчика с героем рассказа. Возможно, этим объясняется и особый характер анекдотических гипербола — гиперболизм мелкого и ничтожного. Скажем, все эти веселые задачки-загадки на «сверхгрохот», «сверхжадность», «сверхнаглость», «сверхиндуктивность» и т. д. Или — состязания в национальном изобретательстве по части ловкости, смелости, прочности, женской

прелести, голода, адских мучений и чего угодно. Выигрывает состязание обычно либо еврей (« компот съел, а муху продал китайцу »), либо русский (взял первый приз в международном конкурсе на тему « Голод », изобразив на картине тощий зад, затянутый паутиной). В данном случае мизерный предмет берется в сверхъестественном качестве или размере, не переставая быть мизерным.

Соответственно, и героями анекдота, его устойчивым типажом, становятся категории лиц и условия, занимающие какое-то исключительное и при всем том близкое, родственное нам положение, одновременно высокое и низкое, отличное от нас и вместе с тем теснейшим образом с нами связанное, смешивающее наше « свое », исконное, и наше « чужое », воображаемое. Отсюда большие серии анекдотов о генералах, о пьяных, о сумасшедших, о евреях, о тещах, о женах, изменяющих мужьям (и наоборот), о детях в их переплетениях с психологией взрослого. Даже анекдоты о вождях, помимо исключительности этих лиц, вызваны одновременно их относительной близостью к нам — в виде хотя бы обязательных штампов, которые спускаются сверху в наш советский быт. О Гитлере в России, кажется, анекдотов не было (слишком чужое), а вот о Ленине — сколько хотите, и чаще — в теснейшем общении с повседневными, навязшими в зубах сюжетами: « броневичок », « ходоки », « Надежда Константиновна », « мавзолей », прославленная ленинская простота и скромность.

В этой связи я хотел бы сказать несколько слов о Василии Ивановиче Чапаеве как первостатей-

ном герое современных анекдотов. В своей образной жизни Чапаев, как известно, пережил несколько этапов и поворотов. Легендарный — в преданиях и рассказах его бойцов, воспринимавших Чапаева в духе народных героев, вроде Степана Разина и Ермака Тимофеевича. Затем — правдиво-документальный, но художественно довольно бесцветный Чапаев в повести Фурманова. Далее — полнокровный и героический образ в знаменитом кинофильме (смесь бесстрашия и безграмотности, полководческого таланта и мужицкой наивности, великодушия и капризного деспотизма). И, наконец, — очевидно, как развитие этого киногероя, последний период его жизни — анекдотический. Вероятна также связь этой серии о Чапаеве с пятидесятилетием Октябрьской революции в 67-ом году и юбилейными штампами, когда эти анекдоты впервые и появились.

Но уместно задаться вопросом: только ли расставание с былым кумиром толпы и с иллюзиями прошлого, путем их перевода в пародийный мир анекдота, повлекло эту длинную и блистательную серию? Нет, где-то анекдотический Чапаев все же остается положительным персонажем — может быть, единственно-устойчивым в анекдоте в этом положительном качестве. Как это ни странно, он сохраняет значение народного героя, хотя и навыворот, в соединении тупости, храбрости, невежества, простодушия и реалистической рассудительности. Он несколько похож на сказочного дурака, — правда, без победного ореола и в исключительно шутовской роли. Стоит сравнить его анекдотический образ с параллельными анекдотами о Ленине, как мы заметим, что наши сим-

пации целиком и полностью на стороне Чапаева и что, несмотря на всю дурость, его имя окружено добротой, снисходительной терпимостью и подбадривающей, насмешливой народной любовью. Происходит это, вероятно, оттого, что образ Чапаева все еще дорог нашему сердцу и нашему детству, а личность его, былая, легендарная личность, чрезвычайно самобытна и колоритна. В результате это самая богатая в наши дни комедийная маска, которая сумела объединить вокруг себя множество сюжетов и стать участником более широкой эстетической игры, нежели его, Чапаева, персональная роль в истории, пускай и резко переосмысленная.

Я не стану приводить анекдоты о Чапаеве, хорошо всем знакомые, но сошлюсь на один образец, который рассказывает, собственно, уже не о Чапаеве, а о чем придется, и являет типичный случай анекдота в анекдоте. Однажды, совсем недавно, Советское правительство решило выяснить, какой в наше время анекдот самый популярный. Для этого собрали и записали все анекдоты и сунули записи в кибернетическую машину. Через несколько часов появился из машины ответ — универсальный, кибернетический суперанекдот :

« Идет по Красной площади Василий Иванович Чапаев и встречает Владимира Ильича Ленина. И Владимир Ильич спрашивает Василия Ивановича (с еврейским акцентом) :

— А что, Абгам, не пога ли в Изгаиль ?!.. »

Когда-то по пятам событий слагались исторические песни и легенды. Одно время на эту потребность пытались отвечать частушки. Теперь

эта миссия полностью перешла к анекдоту. Впрочем, анекдот в Советской России остался единственно современным фольклорным жанром. Блатная песня, которая одна по своей художественной значимости могла с ним конкурировать, уже отходит в прошлое. Анекдот же развивается, живет, и дай Бог ему здоровья. В последнюю четверть века он проявляет, мне кажется, бóльшую, чем раньше, историческую заинтересованность. Не только смерть Сталина, культ Ленина, Хрущев, Брежнев, но и более отдаленные от нас факты и персонажи получили жизнь в анекдоте, притом собственно российского изобретения, — Гомулка, Дубчек, Гусак, Моше Даян, Джавахарлал Неру, Никсон, президент Свобода («президент Свобода — это осознанная необходимость») ...Успели появиться анекдотические отклики на «самолетное дело», на отъезд евреев из СССР, на диссидентов, на самиздат, на роль Сахарова в русской истории. В то же время анекдот все более активно проникает в современную советскую литературу. Достаточно назвать Галича, «Чонкина», повесть «Москва — Петушки», главу «Улыбка Будды» из романа Солженицына «В круге первом», Аксенова, Зиновьева...

Иногда кажется, от всей нашей современности останутся одни анекдоты и тем ее, бедную, увековечат. Однако, увы, и анекдот от нас ускользает. Не только потому, что, как истинно-фольклорный, устный род поэзии, он блекнет на бумаге, теряя живой голос, мимику, жесты, которыми он сопровождается, а иногда практически и полностью овеществляется, наподобие пантомимы. К этому надо прибавить, что в отличие от

других фольклорных жанров, рассчитанных на многократное повторение и закрепление в народной памяти, каждый конкретный анекдот быстрее сходит со сцены, замещенный новым, более острым, актуальным откликом. В новизне — его и соль, и живучесть, подвижность, всепроникаемость, историчность. Здесь же и его быстротечность. Он мигом вспыхивает, но скоро сгорает, забывается. Хотя мы и любим порою вспоминать старые анекдоты, нам хочется всегда услышать какой-то новый, еще неизвестный, самый последний выпуск. Не то, что песня или сказка. И недаром смеются над рассказчиком старого, «с бородой», анекдота. И даже существует анекдот на эту тему — о старом анекдоте. Но да послужит он не только нашему осмеянию, а и на добрую память этому прекрасному жанру. «Однажды, при раскопках Древнего Египта», — отвечают в таких случаях рассказчику, который только что выдал бородатый анекдот, — «нашли египетскую мумию с зажатой в кулак рукою. Когда разжали пальцы, нашли обрывок папируса, на который и был записан этот самый ваш анекдот!..»

...На этом можно было бы и поставить точку и закончить рассказ об анекдоте, когда бы не еще одно его свойство — может быть, самое главное. Это, я бы сказал, его философское отношение к миру, к вещам, к старому и к новому, когда новое это вариант старого, но все-таки новый вариант. Если мы представим себе анекдоты в виде бесконечной цепочки, то она, эта цепочка, охватит чуть ли не все искомые или возможные положения человека на земле. Как таблица химических элементов Менделеева, оставляющая пустоты, не-

заполненные ячейки, для новых валентностей, для новых анекдотов. Общий заголовок этой таблицы, составленной из юмористических притч, гласит: «человеческое бытие», «человеческое существование».

Полнота охвата и философское спокойствие анекдота по отношению к любому драматическому событию и позволяют воспринимать его как источник мудрости. Причем мудрость здесь совпадает с юмором настолько, что в юморе и заключена мудрость. Мы улавливаем в анекдоте какую-то снисходительную, высшую точку зрения на жизнь и на всё на свете. Это связано, представляется мне, с идеей обратимости всех вещей и явлений, с идеей обратимости, которая владеет душой анекдота и воплощается в нем сюжетно, словесно, материально, как в адекватной форме. И в результате анекдот становится советчиком и помощником, объяснением и утешением на все случаи жизни, в самых для нас критических ситуациях. Так что итоговые и вершащие дело концовки анекдотов переходят не только в пословицы и поговорки, в идиомы нашего времени, но — в мудрые изречения, которыми разрешаются, а порою исчерпываются все споры и противоречия.

Для краткости приведу несколько таких анекдотических афоризмов, за которыми, однако, и говорящий и слушатель должны мысленно видеть весь предварительный сюжет и организм подразумеваемого анекдота, всю систему колес, которая его вызвала к жизни и побудила к действию. Те, кто знает и помнит посылки и положения, стоящие за этими формулами, условно говоря —

« посвященные », поймут с полуслова, что всё это обозначает, схватив и вообразив в уме весь образ анекдота как некий универсум. У прочих я прошу прощения за этот речевой герметизм.

Итак — одни выводы, разделенные для ясности паузами, или — конечные тезисы мудрого отношения к жизни :

— Ничего себе я начинаю неделю !..

— Опять проклятая неизвестность !

— Бросьте, поручик ! Никто не поймет, никто не оценит !

— А жизнь у нас какая, товарищ начальник ?..

— Да так — к слову пришлось...

— Бабы, а вас по яйцам палкой когда-нибудь били ?

— Хочу, чтобы Рабиновича восстановили в партии !

— Ну мне лучше знать, какой водой следует поливать Рабиновича !

— Да вы разбрызгивайте, разбрызгивайте !..

— А кость в ём все-таки есть !

— Главное, девочки, не суетиться под клиентом.

— Вы будете очень смеяться, но Розочка тоже умерла.

— Не вижу принципиальной разницы.

Истина, которую предлагает нам анекдот, несмотря на его режущую прямолинейность, всегда многозначна и опускается на несколько точек нашего сознания, включая печаль, слёзы и безысходность положения, в котором мы находимся. Попробую пояснить это двумя короткими заключительными примерами. Первый анекдот — на тему мировой несправедливости и одновременно

на тему победы искусства над действительностью и поэта над чернью. Если угодно, это тема «Мозарта и Сальери».

Идут два ворошиловских стрелка по Тверскому бульвару, мимо памятника Пушкина, и один другому говорит :

— Где справедливость ? ! Ведь попал-то Дантес !
А памятник поставили Пушкину !

Второй анекдот, тоже исполненный грусти и мудрости, дает совет, что делать нам в самых неприятных и отчаянных ситуациях. Когда нет спасения и всё плохо, всё непристойно. Вот тогда анекдот, сам переходящий границы пристойности, предлагает нам в утешение самого себя. Можно сказать, перед нами программа жизни самой беспросветной, безвыходной, но исцеляемой от бед — смехом, юмором искусства и не более того.

Вопрос :

— Что делать девушке, когда ее насилуют ?

Ответ :

— Расслабиться и постараться получить удовольствие.

Эту рекомендацию я отношу и к собственному докладу.

Благодарю за внимание.

М. Розанова

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Памяти Галича

В Париже 15 декабря 1977 года умер Александр Галич.

...Мы прощаемся с ним для того, чтобы с ним встретиться еще и еще раз, к нему вернуться, как он сам возвращается к нам своими песнями. В поэтической и человеческой судьбе Галича явно или тайно присутствует эта тема: «Когда я вернусь...» Вынужденный уехать, эмигрировать из России, он покидал ее с чувством нового и нового к ней возвращения, не буквального, а в более широком смысле и в охватывающем его песни мотиве возвращения — к эпохе, в которую мы жили и живем, к людям, знакомым и незнакомым, к стране, как к исходной точке и к месту рождения его песен. Это так глубоко и серьезно заложено в его творчестве, что, слушая Галича, начинаешь подозревать: а не в природе ли это песни вообще, песни как таковой, которая, улетаая в пространство, к нам возвращается и как бы относит назад, к нашему прошлому опыту и к нам самим, какими мы заново себя постигаем, задумываясь уже не над словами песни, которая поется, а над своей судьбой...

И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака...

Трудно даже сказать, где у Галича нет этой темы возвращения и где он не поет о себе, рас-

сказывая о других людях, совсем на него не похожих. Возвращение — к Освенциму, к солдатам, павшим под Нарвой, к советским лагерям, составляющим всю сердцевину нашей современной истории. Возвращение кассирши к себе самой, меняющей возраст, но так и продолжающей щелкать за старой кассой. Возвращение из Караганды к Медному Всаднику... В мыслях, конечно. Лишь в мыслях... Словом, «возвращение на родину», как писал когда-то Есенин, близкий этой песенной стихии...

Возвращение — это общее, это в традиции песни, и самого песенного жанра, который, вероятно, потому и более или менее традиционен всегда, что соотнесен с прошлым, к которому песня возвращается в силу заложенной в ней личной или всенародной памяти. Возможно, в этом и состоит отличие песни от прочей, в том числе самой высокой, лирики, которая стремится и улетучивается в будущее, тогда как песня, как ветер, возвращается на свои круги и поэтому находит себе пристанище в народе, в фольклоре. Песня помнит, всегда помнит...

Но помни — уходит поезд,
Ты слышишь, отходит поезд
Сегодня и ежедневно...

Как-то незадолго до смерти, может быть даже не ведая до конца, о чем он собственно рассказывает, Галич, сидя у микрофона, записал на пленку, что снится ему последнее время и что его мучает во сне. Воспроизводим дословно его рассказ:

« А началось это с того, что года два тому назад,

когда я улетал из Нью-Йорка в Европу, меня посадили в самолет ужасно усталого и очень сонного. Дело в том, что накануне я был на дне рождения у Ростроповича, причем, приехал я на этот день рождения после своего собственного концерта, приехал поздно — мы гуляли почти до самого утра, днем я так и не успел отдохнуть, и когда меня посадили в самолет — я уже просто засыпал на ходу. И я даже не помню, как мы взлетели, потому что я спал...

Когда я проснулся, я увидел, что около меня стоит стюард, там были не стюардессы, а стюарды, и предлагает мне что-то выпить, и я спросил его, как мы летим. Он спросил — в каком смысле «как»? Я говорю: ну какой маршрут у нас? Он сказал: ну как же — у нас маршрут: Нью-Йорк - Москва... Я спросил: что-что-что??? Он сказал: — У нас маршрут Нью-Йорк - Москва, — сказал он мне. Я настолько обалдел, что у меня просто отвисла челюсть, и я долго так сидел в этом состоянии, пока он снова не прошел мимо, и я спросил его: А скажите, — спросил я дрожащим голосом, — а где-нибудь у нас будет посадка, или прямой рейс? Он сказал: Рейс прямой, — сказал он, после чего у меня уже совершенно упало сердце, — но посадка у нас будет в Амстердаме. Тут я вздохнул с облегчением, а потом, вот с той поры, начался этот сон. Как говорится в «Борисе Годунове» у Пушкина — «Все тот же сон...»

И очень часто мне снится, что я прилетаю в Москву. Прилетаю в Москву, сажусь в такси, и уже в такси я понимаю, что, собственно говоря, ехать-то мне некуда. Я не знаю, к кому я могу

зайти? Кого я могу не подвести? и как мне быть дальше? Где я буду ночевать? Где я буду есть? Кому я рискну позвонить?..

И потом обычно этот сон где-то перебивается ощущением, что я стою в будке телефона-автомата и держу в руках не двух-копеечную монету, а почему-то у меня в памяти остались пятнадцатикопеечные монеты, те, которые мы бросали еще в пятидесятые годы в копилку телефона-автомата... И вот я держу эту пятнадцатикопеечную монету, и я не знаю, кому позвонить... Родным? — Я боюсь. Другьям? Я не знаю, как я им позвоню и что я им скажу... И это ужасное ощущение того, что я, наконец-то, дома, я, наконец-то, у себя, на родине, я, наконец-то, там, где мне всё мило и всё — тяжело, всё — необыкновенно дорого и всё — необыкновенно раздражает меня, и вместе с тем я понимаю, что я уже чужой в этом мире: этот мир — мой мир! — он не может меня принять, я не могу в него войти...

Я, как правило, иду потом от площади Маяковского до площади Пушкина, я до сих пор помню все дома по правой стороне, помню, что там находится, и последовательность этих домов...

И я захожу в магазин, где когда-то были меха, а теперь продают всякие фото-принадлежности, и иногда там можно было достать батарейки для транзистора, поэтому я туда заходил очень часто, и я стою и меня спрашивают: что вы хотите? и я начинаю покупать батарейки для транзистора. Меня спрашивают — какого размера? И я говорю — все равно какого, потому что мне действительно все равно, какого размера будут эти батарейки... И обычно где-то вот на этих самых батарей-

как и кончается этот очень горестный и очень странный сон, который, как я уже сказал, уже из месяца в месяц повторяется и снится мне очень часто...

Смерть Галича — в результате, как принято говорить, «несчастливого случая» — подавляет своей ненужностью и нелепостью. Боже ты мой, погибнуть — Галичу — по ошибке — в собственной квартире, оттого что по рассеянности включил антенну в электросеть, где, к тому же, не такое уж высокое и страшное напряжение!.. Галич всю жизнь увлекался музыкой, радио, возился с радиоприемниками, транзисторами, проигрывателями. Недаром даже во сне он бредит батарейками для транзистора. Всем известно, что попав за границу, Галич начал работать на радио, на радиостанции «Свобода». Это была лишь одна из сторон его жизни и деятельности здесь. Так сказать, биографическая деталь. Одно из возможных и полезных применений его опыта, таланта и голоса. Тем не менее, радио, именно радио, возвращающее в Россию ее собственные дар и память, — это было органично для Галича с его песнями, с его творческой природой, требующей не читателя, а слушателя. Это слышалось даже в тембре его голоса. Галич был создан для того, чтобы жить в звуке, в музыке и в эфире, и чтобы его песни, перелетая расстояния, возвращались к исходной точке, к месту рождения. И вот вся эта материя — батарейки, радио, электросеть, антенна, проигрыватель — невольно послужила причиной его гибели. Рассказывают, что он ставил антенну, ошибся розеткой, поставил не

туда, куда следует, и его ударило током, и, кажется, уже падая, он ухватился нечаянно, свободной рукой, за второй ее прут, да так и остался лежать с зажатой в руках антенной. Ток прошел через него. И нет Галича...

Ты слышишь — уходит поезд,
Сегодня и ежедневно...

Осмелюсь возразить на молву о нелепости его смерти. Конечно, это бездоказательно и наивно, быть может. Я не настаиваю. Это не научная экспертиза, а субъективное чувство и смутная догадка, что Галич умер, как полагается, в согласии со своим характером и судьбой. Да, случайно, но совсем не глупо и не плохо.

Человек себе смерти не выбирает. Смерть выбирает человека. Кому долго жить, кому коротко. Даже кончая самоубийством, мы не выбираем. Смерть выклевывает нас, по одиночке, руководствуясь собственным опытом и глазом. Кричи не кричи о нелепости положения, она свое дело сделает.

Но бывает, случается: соответствие или несоответствие смерти — человеку. Тому, чем и как он жил. Анакреонт, согласно преданию, подавился виноградной косточкой, и это на него похоже. Верхарн попал под поезд. Мы дивимся, как правильно, то есть похоже на себя, умерли Пушкин и Лермонтов, Лев Толстой и Маяковский... Не всем дано умереть в соответствии с самим собой. Но некоторым — дано.

Мы оплакиваем Галича. И не зная, куда деться от его смерти, говорим: до чего же нелепо! Если

бы он умер хотя бы от инфаркта, который уже несколько раз угрожал его жизни. Не от случайного же, такого невинного, домашнего электричества! Нам просто хотелось бы придать какую-то законность или объяснимость его гибели. Все мы умираем от инфаркта, от рака, от гипертонии. В крайнем случае — от гриппа. И мы — привыкли. А тут — током ударило из какой-то розетки, ни с того, ни с сего. И нам страшно и неловко... А смерть необъяснима, и действует по-своему, и бьет током — выборочно. Совсем это не чепуха и не нелепость! И совсем не от антенны, включенной в электросеть, умер Галич. Ему повезло: он умер от музыки, которую захотел послушать еще раз перед смертью. Он любил музыку, и жил в ней, и работал... И умер на рабочем месте, как и подобает поэту. Его убило музыкой.

А песни все возвращаются и возвращаются к нам. Сделали круг и вернулись. И голос его слышен. Как звон в ушах. Как близкие позывные...

ПОКУПАЙТЕ РУССКИЕ ГАЗЕТЫ
И ЖУРНАЛЫ:

ВЕСТНИК РХД (Париж-Нью-Йорк-Москва),
ВРЕМЯ И МЫ (Тель-Авив), ГОЛОС ЗАРУ-
БЕЖЬЯ (Мюнхен), ГРАНИ (Франкфурт-на-
Майне), ДВАДЦАТЬ ДВА (Тель-Авив),
КОВЧЕГ (Париж), КОНТИНЕНТ, НАША
СТРАНА (Буэнос-Айрес), НОВОЕ РУССКОЕ
СЛОВО (Нью-Йорк), НОВЫЙ ЖУРНАЛ
(Нью-Йорк), ПОСЕВ (Франкфурт-на-Майне),
РУССКАЯ МЫСЛЬ (Париж), РУССКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ (Париж-Москва-Нью-Йорк),
СИОН (Тель-Авив), ТРЕТЬЯ ВОЛНА (Фран-
ция), ЧАСОВОЙ (Брюссель), ЭХО (Париж).

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО
« МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ »

Вышли из печати и продаются в русских
книжных магазинах:

Ал. Воронель «Трепет забот иудейских»

Нина Воронель «Папоротник» (стихи)

Нина Воронель «Прах и пепел» (пьесы)

Иосиф Богораз «Отщепенец»

Илья Рубин «Оглянись в слезах»

Готовятся к изданию:

М. Бегин «В белые ночи»

Дж. Кармайкл «Троцкий»

И. Гаррик «Еврейские дацзыбао»

Ю. Марголин «Над мертвым морем»

А. Штейнзальц «Суть Талмуда»

Заказы по адресу:

Mme Sotnikoff, Tel-Aviv, p.b. 23121. Israël

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Рубинштейн. Когда труба трубила о походе 3
В ЗАЩИТУ АЛЕКСАНДРА ГИНЗБУРГА

Юлий Даниэль. Выше других 8
Андрей Синявский. «Темная ночь...» 11

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Лев Копелев. О смертной казни 23
Александр Янов. Идеальное государство
Геннадия Шиманова 31

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

М. Каганская. Отречение. От «Машеньки»
к «Лолите» 57
Абрам Терц. Анекдот в анекдоте 77
М. Розанова. Возвращение. Памяти Галича . 96

Журнал «Синтаксис» благодарит за материальную поддержку Ю. Вишневскую и В. Некрасова.

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Цена номера 15 фр. франков.

Подписка на 4 номера 50 фр. франков.

Пересылка за счет подписчика.

**АЛЕКСАНДРУ ГИНЗБУРГУ, редактору
первого журнала "СИНТАКСИС"
(Москва, Самиздат, 1959-1960),
- посвящается.**